

Сергей
МИХЕЕНКОВ

*«Безь мы ж не
просто так —
мы штрафники.
Нам не писать:
«Считайте
коммультом!»*

Мы — штрафники

Шанс выжить — один к десяти

Три бестселлера одним томом! Лучшие романы о штрафниках Великой Отечественной. Боевой путь советской штрафной роты от проклятой высоты подо Ржевом, ставшей для них «высотой смертников», — после этого боя от всей роты в строю осталось не больше взвода, — до беспощадных боев на Курской дуге и при форсировании Днепра.

Штрафников не зря окрестили «смертниками» — «искупая свою вину кровью», они обязаны были исполнять самые невыполнимые приказы любой ценой, не считаясь с потерями, первыми шли в самоубийственные разведки боем и на штурм неприступных вражеских позиций. И шанс уцелеть в штрафбате или штрафной роте был — один к десяти.

Сергей Михеенков

Из штрафников в гвардейцы. Искупившие кровью

Нелегкой оказалась судьба главного героя этого романа. Курсантом Подольского пехотно-пулеметного училища война сунула Саньку Воронцова в наспех отрытый окоп на берегу речушки Изверь на Варшавском шоссе близ города Юхнова в октябре сорок первого года. Потом протащила через вяземские леса в составе окруженной Западной группировки 33-й армии. Он видел гибель последних бойцов и командиров обреченной армии. Зимой 1942/43 года, когда на южном участке огромного фронта шла битва за Сталинград, а подо Ржевом и Сухиничами Красная Армия бросала в отвлекающую мясорубку новые и новые стрелковые дивизии и танковые бригады, бывший курсант, теперь младший лейтенант Воронцов командовал взводом в отдельной штрафной роте. Зайцева гора, Жиздра, Хвастовичи, Вытебеть... В составе штрафной роты он идет в атаку в июле 1943 года, когда вспыхнула огненным смерчем Орловско-Курская дуга. Война отмеривала Саньке Воронцову полной мерой. После тяжелого ранения и госпиталя он, наконец, получает самую высокую фронтową награду — отпуск по ранению. Домой! А в это время его товарищи форсируют Днепр, и мысленно он — с ними. Но и в тылу лейтенанту Воронцову не пришлось отдыхать. В лесу близ военного аэродрома, где базируется дальнебомбардировочный полк, действует абвер-группа...

Глава первая

Однажды утром после очередного обхода Воронцова переложили на носилки и по прохладному коридору понесли в операционную.

Резали под местным наркозом. Ему казалось, что никакого обезболивающего укола не сделали. Он собрал все силы и поднял голову, чтобы посмотреть на свои ноги. То, что он увидел, его ужаснуло. Кожа казалась содранной начисто, а из тканей мышц и переплетающихся сухожилий торчали какие-то тампоны и бесформенные предметы разной величины. Когда по дну эмалированного сосуда застучал металл, Воронцов догадался, что он только что видел, и закрыл глаза.

Он снова пролежал неподвижно не меньше суток. На этот раз спать ему не давали. Гришка и лейтенант Астахов сидели над ним по очереди и будили:

— Не спи, Сашка, не спи, браток, нельзя тебе засыпать.

Даже майор Кондратенков окликал его, приказывал проснуться и думать о родных, если уже невмоготу.

Время, казалось, пронзало его тело, не задевая ни души, ни мыслей, и уходило, отлетало прочь. Как ветер в поле. Как трассирующие пули, легко прорезающие пространство, — одна, другая, третья... Настоящего Воронцов почти не чувствовал. Только прошлое. Но не все, а лишь то, что с ним произошло в последние два года. Лица, глаза, голоса, жесты. Снова пришлось вспоминать и себя. Но многое он так и не смог. Почему? В прошлом существовала какая-то злая и беспощадная сила, которая и угнетала и манила одновременно. Невозможно отделаться от прошлого. И вот что еще он заметил: то, что в настоящем казалось пустяком, со временем выросло до размеров невероятных. Когда-то в бою не оглянулся на крик о помощи. Боец, бежавший в цепи рядом, упал, а он не оказал ему первую помощь. Даже не подал команду другим, чтобы его перевязали и унесли в тыл... О другом подумал плохо и даже приказал сержанту присматривать за ним особо, а он лучше других проявил себя в бою... Степкиной матери до сей поры не написал письмо...

Иногда казалось, что он спит в траншее и вот-вот надо вставать, проверять посты, а потом идти на доклад к ротному, что госпиталь просто снится. Такая невероятная тишина не может быть реальностью. Скорее всего, ночью был обстрел, и его просто контузило близким взрывом, взрывной волной ударило затылком о стенку окопа...

Несколько раз он видел, как над ним наклонялись то Гришка, то лейтенант Астахов. Они заглядывали в глаза, как в пустой колодец, который все никак не мог наполниться водой, а та, которая скудно приходила, оказалась слишком мутной и непригодной. Гришка все время что-то говорил, говорил, даже принимался тормошить его:

— Не спи! Не спи! Борись, Сашка, за жизнь! Другой не будет!

Лейтенант Астахов молча вытирал ему лоб сырой тряпкой.

Наконец он все же не выдержал и уснул. И этот сон был уже другим сном, не тем, которого надо бояться. Так забывается человек, у которого впереди еще целая жизнь.

Прошел месяц. И однажды Воронцов, взяв костыли, оставленные капитаном Гришкой, который неделю назад отбыл из госпиталя прямой дорогой на фронт, сделал по палате несколько шагов. Майор Кондратенков сидел на массивном и основательном, как и он сам, табурете, обитом дерматином, и одобрительно кивал головой.

— Ну что, Иван Корнеевич! Вот видишь! Уже иду! — Воронцов обливался потом. Коленки подгибались. Мышцы сводило судорогой. Но главное — произошло. Он встал на ноги. А остальное можно перетерпеть.

Последние осколки, которые обнаружил рентген, Мария Антоновна удалила неделю назад. Повязки еще оставались, но, самое главное, снят был гипс. И вот теперь он сделал несколько шагов, пусть пока на костылях, но зато самостоятельно. Майора Кондратенкова предупредил, чтобы не смел помогать, даже если он упадет.

— Поднимусь сам.

Майор сел на табурет и покачал головой:

— Ну и характер у тебя, Александр Батькович! Яд, а не характер. Пойдешь ко мне в полк? Роту дам! С таким характером через полгода комбатом будешь!

Майор уже ходил. Костыли не признавал. Поднимался и, держась то за стенку, то за дверной косяк, выбирался из палаты, чтобы покурить в коридоре возле окна, где собирались ранбольные. Там, прежде чем по-братски раскурить свежую газету, внимательно читали сводку. Наши армии по-прежнему наступали, нажимали на всех фронтах. Подкатывались к Днепру, где противник основательно укрепился по линии так называемого «Восточного вала»^[1]. Там, судя по всему, немец намеревался остановить наступление Красной Армии. Значит, там и намечалась главная рубка. Она и решит судьбу осени и, возможно, предстоящей зимы.

Две недели спустя майора Кондратенкова начали готовить на выписку.

— Все, Сашка, направлен в армейский дом отдыха. Где-то тут, недалеко. Долечиваться там буду. Но, думаю, это ненадолго. Дела вон какие на фронте происходят. Грунин письмо прислал. Он уже на месте. Нашу боевую группу снова в полк развертывают. Стоят во втором эшелоне. Командира пока нет. И ротных не хватает. Смекаешь, Сашка, на что я тебе намекаю?

— Что ж от своих... — Воронцов неопределенно пожал плечами.

— Кто у тебя там свои остались? В штрафную опять пойдешь? На тройной оклад? Не дури. Слушай внимательно. Я ж тебя от фронта не отговариваю. Ты — боевой офицер, и я предлагаю не интендантскую землянку за три километра от окопов, а стрелковую роту. Пойдешь на поправку, сделай так, чтобы зачислили в офицерский резерв фронта. Из армейского я тебя не смогу вытащить. В другую армию тебя оттуда не отдадут. А из фронтового вытащу. Личное дело твое я уже просмотрел. По всем статьям подходишь. Полк, Грунин пишет, соседней армии передают. А соседняя у нас — Тридцать третья. Смекаешь, Александр Батькович? Командует армией генерал-лейтенант Гордов. Не хуже твоего Ефремова. Тридцать третья правым флангом стоит перед Вязьмой. Вот-вот наступление начнется. Мы, брат, и Гришку разыщем. Хоть его и выписали ограниченно годным, но характер его я знаю. В тылу не усидит.

Через несколько дней Кондратенков уехал в дом отдыха. В палату заселили новых постояльцев. На этот раз привезли двоих танкистов и разведчика. В первую же ночь один из танкистов умер. Но уже вечером на его кровать положили новоприбывшего капитана-артиллериста.

Шли дни, однообразные, словно вид из госпитального окна. Так уж устроен человек, что, когда прижимает, когда снимают с кузова грузовика твое разбитое, истерзанное тело и кладут на мягкую кровать, от которой давно уже отвык, когда начинают над тобой кружить санитарки и врачи, и ты понимаешь, что выжил, пребывание в госпитале кажется раем.

Оказывается, жил, воевал, и мог погибнуть, так и не узнав, что существует посреди хаоса смерти и разрушения такое место, где все добры, внимательны и спокойны, где ни офицеры, ни солдаты не матерятся, где не надо выставлять часовых, прежде чем лечь спать, где неплохо кормят и при этом не надо ждать старшину с вечно пропадающими неизвестно куда кухнями. Место это называется госпиталем. И размещен этот рай в обыкновенной школе районного городка.

Но приходит и другое время. Опухоль спадает, ноги зудят. Хочется поскорее избавиться от осточертевшего гипса. Потом лубок, наконец, снимают. После помывки, возвращающей те ощущения, с которыми ты, казалось, навсегда уже расстался, вдруг начинаешь различать словно где-то, пока будто в отдалении, тихий голос тоски. Тоска застаёт врасплох, как ночная разведка задремавшего часового. Вот проснулся, а вокруг уже все другое, и ты сам другой, и понимаешь, что сам себе уже не принадлежишь. Еще сегодня утром ты лежал поверх одеяла и остервенело шурудил сухим прутиком под своим чугунным жилетом, распространяя вокруг трупный запах частично умершего тела. Но теперь мертвечина счищена, смыта. И тебе хочется на волю, под деревья, которые шумят во дворе, под дождь, шлепающий по камням мощеных тропинок, по жестяным отливам коридорных окон, которые всегда приоткрыты, особенно ночью. С каждым днем и часом возвращаются силы, прежняя ловкость. И тоска уже разливается по всему телу, окликаемая голосами товарищей, оставшихся где-то на войне...

В один из дней Воронцов выпросил у Марии Антоновны свою полевую сумку.

— Зачем она вам понадобилась? — Военврач заполняла какие-то бланки, когда он постучал в дверь ее кабинета с деревянной табличкой «Учительская».

Никогда прежде, до войны, Воронцов не смотрел на женщин так, как теперь. Словно там, в прошлом, они были совсем другими.

— У меня ведь никаких вещей не осталось. Только шинель да полевая сумка. Ребята сунули под голову...

— Ну и зачем вам сумка?

— Починить ее хотел. Ремешок перебило. Шинель посмотреть. Пока время есть, может, подошью.

Мария Антоновна подняла глаза. Она взглянула мельком и усмехнулась:

— Тоже, что ль, к фабричным собрался? Не рано?

Недалеко от школы начинались корпуса текстильной фабрики. Гришка последние дни пропадал именно там. Возвращался довольный и молчаливый, как сытый кот. Приносил иногда какие-нибудь домашние сладости.

— Никуда я не собрался. Письма там у меня из дома. Адрес матери друга. Ордена.

— А друг где воюет?

— Друг погиб.

— Погиб... Сколько ему было?

— Мы одногодки.

Мария Антоновна заглянула в карточку и сказала:

— Вы выглядите значительно старше своих лет.

— Да, наверное.

— Что еще? В сумке что еще? — вернулась она к разговору. — У майора Фролова завтра день рождения. Мне уже доложили. А у вас в сумке, вероятно, фляжка? С фронтowym запасом?

— Вряд ли она там осталась. А вот бинокль должен быть. — И спохватился: зачем ляпнул? Вдруг заинтересуется, что у него там еще?

— У нас на складе воров нет, лейтенант Воронцов.

— Да нет, Мария Антоновна, я не то имел в виду. Простите.

Она взяла четвертушку листа и что-то косо черкнула.

— Вот, возьмите. Разыщите завхоза, ее зовут Лидией Тимофеевной, и скажите, что я разрешила.

Воронцов взял листок. Попрочнее уперся в пол костылями и спросил:

— На мне, кроме бинтов, ничего не было? Здесь, на груди.

— Вы имеете в виду полотенце? — вдруг спросила она. — Оно цело. Но пришлось его разрезать. Девочки его постирали. Там же, на складе, вместе с вашими вещами хранится.

— Спасибо, Мария Антоновна.

— Что, талисман? Оберег?

— Да, что-то вроде того.

— От матери? Или от женщины?

— От женщины.

— Два осколка застряли на поверхности. Такое впечатление, что именно полотенце и не позволило им войти в тело. Я попросила девочек его постирать и положить в ваши вещи.

Шинель лежала на обозной повозке в скатке. Ее принесли, когда Воронцова уже увозили на санитарной машине. Память возвращала те минуты перед взрывом по крупицам, будто фрагменты мозаики. Удивительно, но сознание он потерял уже в лесу, когда машина подъезжала к госпиталю и девушка-санитарка, придерживавшая его голову на коленях, сказала: «Ну вот, миленький, приехали. Сейчас тебя прямо на стол».

Фляжка со спиртом оказалась в кармане шинели. Там же лежала медная створка складня с Архангелом Михаилом. Его талисман. Память о Шестой курсантской роте. Расстался он тогда с ним, оставил в обозе. Всегда ведь брал с собой, а в то утро забыл переложить из шинели в гимнастерку. Но перед боем, словно чувствовал, обмотался полотенцем.

Воронцов сидел на широкой скамье в углу школьного сквера и раскладывал на коленях свое добро. К вечеру становилось уже прохладно. Сентябрь. И он накинул на плечи шинель. Как хорошо было в ней! Как уютно и спокойно одновременно!

Он вытащил тряпицу, в которую были завернуты погоны и награды: орден Красной Звезды и две медали «За отвагу». Интересно, кто их сохранил? Ведь кто-то же положил их сюда. Гимнастерка, судя по всему, была вся изодрана. Ее просто срезали частями. Он не раз видел, как это делают. Но кто снял и погоны, и награды и бережно сложил в сумку? Дальше лежал сверток выстиранного и выглаженного полотенца. Под ним бинокль и запасная обойма. В ней не хватало двух патронов. А внизу, под трофейными медицинскими пакетами, торчал ствол офицерского «вальтера». У Воронцова даже кончики пальцев кольнуло. Хорошо, что никто не проверил его сумку. Там же лежал, рукояткой вниз, трофейный нож, который он снял вместе с фляжкой с убитого снайпера возле Варшавки.

Письма, перетянутые льняным шнурком, были втиснуты в другом отделении. Пачка тридцатирублевых. Собирался отослать деньги Зинаиде и не успел. Блокнот, список взвода и список потерь штрафной роты. Теперь это вряд ли кому-то нужно. Но выбрасывать списки Воронцов не стал. Пошарил внизу и вытащил бритву. Кто ж ее сунул в сумку? Это бритва Бельского. Она должна была лежать в сумке Бельского, которую носил вестовой Быличкин.

Это он все переложил и сунул ему под голову. Значит, жив. Не задело ни взрывной волной, ни осколками. Ребята ничего не стали оставлять себе. Верили, что он выживет. Где они теперь? Не успел Воронцов написать на них реляции. Если только Гридякин напишет. Или Кондратий Герасимович. Нашел ли он сына? Танков в том поле погорело много.

Фляжку и письма лейтенант сунул за пазуху. Остальное аккуратно сложил в сумку, застегнул и пошел на склад. У Лидии Тимофеевны, пожилой, деревенского вида женщины с усталым лицом, поинтересовался, во что его оденут и обуют, когда придет время выписываться?

— Что-нибудь, сынок, подберем. — Лидия Тимофеевна с любопытством посмотрела на него. — Никого раздетым не отпускаем. Всех одеваем-обуваем, паек на дорогу выдаем.

На стеллажах лежали стопы постиранной и выглаженной одежды.

— Ростика-то ты, сынок, немало. И правда, на тебя заранее одежду подбирать надо. Ладно, подберу. Нового не дадим. Не обессудь. Но чистенькое, заштопанное... За некоторыми из частей приезжают, так им новое все привозят. Начальство... Так что у нас тут обменный фонд большой.

Лидия Тимофеевна приладила на полевой сумке и свернутой в скатку шинели Воронцова бирку на бумажном шпагате, покачала головой:

— А что это ты, сынок, шинелюшку скатал по-дорожному? Не скоро тебе еще. Марья Антоновна еще месяц продержит. А то и дольше. — И вздохнула. — Навоюешься еще. Не майся. Девку фабричную найди. — Она засмеялась каким-то хриплым, задавленным смехом. — Поживи, сынок, спокойно. Война теперь далеко. Вон куда немца прогнали!

Отметили день рождения майора Фролова. Из дому ему пришла посылка. Сдвинули у окна тумбочки, постелили газету. Фролов, лысоватый, узколицый, с быстрым взглядом, размахивая загипсованной рукой, отдавал распоряжения, что куда поставить и что как порезать. И питья, и закуски наставили и навалили на подоконник и тумбочки много. Обилие домашней еды радовало глаз. Воронцов положил в середину фляжку.

— О! Благородный жест настоящего фронтовика! — сказал майор, улыбаясь.

Фролову было под сорок. Служил начальником оперативного отдела штаба стрелковой дивизии 33-й армии. Ранили где-то под Износками.

Когда хорошенько выпили, развязались языки и разговоры начались душевные, Фролов пересел на кровать к Воронцову и спросил:

— Иван Корнеич говорил, что вы прошлой весной под Вязьмой были?

— Был.

Майор долил Воронцову в кружку, плеснул себе и сказал:

— Давай помянем нашего генерала. Суровый был мужик. Как там, у Лермонтова: «слуга царю, отец солдатам»... И всех, кто с ним остался, там, за Угрой.

Воронцов вспомнил командарма Ефремова, промозглое утро в сосняке, последнюю атаку на прорыв... Потом ему не раз казалось, что поступили они неправильно. Получалось так, что бросили командующего. А генерала и мертвого нельзя было оставлять. Никому он не рассказывал о том последнем бое. Только однажды со Степаном, оставшись наедине, вспомнили полупшепотом о товарищах. Но и во время того разговора ни он, ни Степан о генерале не проронили ни слова.

— Особняку потом на вопросы отвечал? — спросил Фролов, кинув на Воронцова быстрый взгляд.

Воронцов кивнул и напрягся. Что хочет сказать ему майор?

— Молчишь. И правильно поступаешь. Знаешь что, парень, скажу я тебе... — Фролог наклонился к нему. — Помалкивай лучше об этом впредь. Иначе выше взвода не пойдешь. Так и будешь всю войну тянуть ляжку Ваньки-взводного. Знаю я, как относятся к тем, кто побывал в окружении. А предложением Кондратенкова не пренебрегай. Он человек слова. Своих не бросает.

Почти на всех фронтах шло успешное наступление. В сводках говорилось о том, что наши наступающие части в нескольких местах захватили плацдармы на правом берегу Днепра и удерживают их, расширяют и усиливают. Ждали новых добрых вестей: что вот-вот на правый берег перекинутся и основные силы, и тогда пойдут развивать наступление в глубину, как это было после Орла и Белгорода.

В палате повесили репродуктор, и теперь он не выключался. Ранбольные собирались группами, возбужденно обсуждали сводки.

— Во колошматят их на Днепре!

— Слыхали, как сообщают? Танковые корпуса, танковые армии... Сила!

Но те, кто постарше, покуривали сигарки молча. И только иногда кто-нибудь ронял задумчиво:

— Да, ребята, Днепр — река широкая...

В один из дней Воронцов отпросился в город. Решил послать в Прудки Зинаиде и детям деньги, которые скопились у него. Мария Антоновна выслушала его и сказала:

— Вообще-то не положено. Раненые не должны появляться в городе. Вот задержит вас патруль, мне нагоняй будет. И в подштанниках ведь вы не пойдете?

— Прикажете что-нибудь подобрать. Лидия Тимофеевна обещала...

— Подберем, подберем. Только патрулю не попадитесь. — Она взяла лист бумаги и что-то размашисто черкнула. — Вот, возьмите.

— Что это?

— Увольнительная, — усмехнулась она. — Записка моей маме. О том, что я послала вас с поручением. На всякий случай запомните: улица Тарусская, дом двенадцать. Если попадетесь патрулю, скажите, что начальник госпиталя поручила вам узнать, все ли дома в порядке. Мама больна. Видите, вы принуждаете меня лгать, спекулировать здоровьем матери... Ладно, ладно, идите. В худшем случае, если патруль не поверит, приведут сюда.

В Серпухове Воронцов не раз бывал до войны. Их Шестая рота какое-то время стояла в летнем лагере недалеко от дороги на Тулу. Рядом находилась деревня Лужки, куда они ходили за молоком. Летний военный лагерь тоже именовался «Лужками».

Переодевшись в диагоналевую гимнастерку и шаровары, Воронцов застегнул шинель, затянул, как положено, ремень, перекинул через плечо полевую сумку, в которой тяжело стукнул бинокль, и вышел со школьного двора в сторону земляного моста. Где-то там, в двух кварталах от госпиталя, находилось почтовое отделение.

Он шел, прихрамывая на обе ноги. Солнце еще пригревало по-летнему, и, пройдя половину улицы, он почувствовал, что спина вспотела. Конечно, сразу догадался он, дело вовсе не в солнце. Устал. Ноги дрожали. Захотелось присесть. Он посмотрел по сторонам. Вот так, с непривычки... Даже такой марш, оказывается, пока не под силу.

— Скажите, пожалуйста, я правильно иду к почте? — спросил он прохожих.

— Да, боец, вон она, твоя почта, — указал рукой один из них, и Воронцов встретился с ним взглядом: внимательные глаза неопределенного цвета, настороженные и одновременно какие-то торопливые, спешащие обшарить все, и человека, и пространство вокруг него. На

вид прохожему было лет двадцать, не больше. Другой значительно старше. Оба в добротных офицерских сапогах. Молодой одет в вельветовую куртку, а пожилой в осеннее двубортное пальто.

Они разминулись. Воронцов решил, не отдыхая, все же дотянуть до почты. Двухэтажное здание с синей вывеской почтового отделения виднелось впереди, за два дома. Но он вдруг подумал, что, дойдя до почты, не сможет идти назад, и получится... Что может получиться, когда на почту приходит раненый, находящийся на излечении в госпитале, а назад идти не может? Чего доброго, не военврачу позвонят, а в комендатуру... Тогда он подведет и Марию Антоновну, и себя. И больше она такие прогулки не позволит.

Лейтенант перешел через пустынную улицу и свернул в переулок, ведущий куда-то вниз. Оттуда тянуло влажной прохладой близкой воды. Идти оказалось значительно легче. Правда, потом придется подниматься. Ничего, подумал он, вырежу палку, и куда угодно доковыляю. Он вспомнил, как год назад бежал на костылях от карателей. Тогда он летел как на коне. Сколько раз он мог быть убит! Но выкарабкивался, иногда судорожно хватаясь за соломинку. Почему так происходило? Ведь все, с кем в октябре сорок первого Воронцов отрывал первый окоп на реке Извери под Юхновом, погибли. Кто там, в тех окопах, кто несколькими днями позже, на Угре и на Шане, а кто совсем недавно. И вдруг он вспомнил, как однажды, когда их группу выслали в боковой дозор и он, командир группы, остановил выходящий из окружения полк майора Алексеева, ему приснился сон. Снилось вроде бы Любка, деревенская подружка, но и не совсем она. Снилось какое-то сияние, а когда он спросил: «Кто там?», — Любка ответила: «Богородица». — «Я теперь умру?» Но никто не ответил. И все исчезло. И девушка, и сияние, которое он так и не разглядел, потому что оно не имело каких-либо отчетливых очертаний. Тогда он очнулся и понял, что спит в окопе, на НП майора Алексеева... Вот почему он так спокоен в бою. «Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящей днем... Падут подле тебя тысяча и десять тысяч одесную тебя... но к тебе не приблизится... Только смотреть будешь очами твоими...» Эти слова из Псалтири, которую читал монах Нил день и ночь. И иногда, украдкой подходя к его жилищу, Воронцов слышал в открытое окно тихое бормотание, порой переходящее в шепот благодарности. Кого благодарил монах Нил? Небо? Озеро? Тишину, накрывающую и Бездон, и хутор, и песчаную косу, поросшую елями и соснами? Бога? Так ведь все это, вдруг понял Воронцов: и тишина, и озеро с отраженным в нем небом, и запах хвои, и мерцание солнечных бликов на песчаном холмике, усыпанном пролесками, и есть Бог. А иной разве может быть?

Когда смерть заглянет в глаза, поверишь во что угодно.

Палку лучше всего вырезать у реки. Там наверняка растут ивы. Из ивы получится прочная палка. Нож у него есть.

Воронцов оглянулся и увидел в конце переулочка человека в короткой вельветовой куртке и высоких офицерских сапогах. И сразу же понял, что оглянулся не случайно — он почувствовал пристальный взгляд в спину. Почему он идет за мной? Через минуту Воронцов оглянулся. В переулочке никого не было. Ерунда какая-то, нервы совсем распатались. Он снова оглянулся. По другой стороне узкой улочки, выложенной булыжником, шла девочка лет десяти, худенькая, с длинными ножками, очень похожая на младшую его сестру. Он даже остановился. Из-под платка смешно, на две стороны, торчали косички. Видимо, сама заплетала. Вылитая Стеша. Она несла белый бидончик, держа на отлете и изогнувшись хрупкой тростинкой фигурки. Он закрыл ладонями лицо, чувствуя сильное нервное напряжение, и некоторое время стоял так. Колени дрожали. Дрожало и все тело. И надо

было успокоиться. Он вздохнул и отнял от лица руки. Никого в проулке не было. Да, передовая в первую очередь ранит не тело. Хотя там, в окопах, этого не замечаешь. Усталость накапливается постепенно.

Воронцов пошел дальше. Впереди блеснула отраженным небом река. Белые, умытые ночным дождем лобастые булыжники сияли. Мощеная дорога обрывалась у воды. Там же чернел старыми сваями и прочным настилом причал, приколоченный к мокрым сваям длинными кривыми скобами. Возле него, поскрипывая стертymi и разломаченными автомобильными крышками разного калибра, стоял старенький буксир с надписью на помятой носовой части: «Политотдел». У берега, уткнувшись в самодельные бакены, выкрашенные в голубой цвет, колыхались на легкой волне лодки. Боже, как здесь было хорошо и пустынно!

Он свернул с мостовой и пошел вдоль берега. Сырая черная земля, похожая на огородную, проминалась под подошвами. Сапоги Лидия Тимофеевна выдала старенькие, других не нашлось. Он долго чистил их щеткой, потом шлифовал куском шерстяной зимней портянки. Но беда — размером оказались маловаты. И теперь он это чувствовал особенно. Правую ногу сдавливало, словно тесным гипсом. Видимо, он уже стер пятку.

Дома остались позади, начиналась пустынная пойма, заросли камыша. Воронцов зашел в ивняк, выбрал подходящий побег и вытащил из полевой сумки нож. Он сел на старую сухую корягу, выбеленную солнцем и объединенную улитками, отсек ножом ветки и макушку. Палка получалась удобной, правда, немного тяжеловатой. Ничего, подумал Воронцов, высохнет, станет легкой. Он счистил кору и слегка заострил конец. И в это время снова почувствовал чей-то пристальный взгляд.

Шагах в десяти стояли двое. Те самые, у кого он спрашивал дорогу до почты. Молодой, в вельветовой куртке, и пожилой, в ладном пальто. Рожи постные. В глазах тот особый блеск, который Воронцов видел у бойцов перед атакой.

Лейтенант встал. Но молодой тут же, в несколько прыжков, перекрыл ему дорогу назад, к пристани, и, нагнувшись, ловко, с каким-то нарочитым артистизмом выхватил из-за голенища короткий нож.

— Ну что, воин, делать будем? — Он усмехнулся, сразу напомнив блатняка Золотарева. У этого тоже верхний клык украшала золотая фикса.

Ввязываться в разговор — дело не только бесполезное, но и опасное, сразу оценил ситуацию Воронцов. У пожилого с бегающими глазами наверняка тоже есть нож. С двумя не справиться. Они уже заняли позицию: один спереди, другой немного правее и сзади.

— Сумку! Сумку давай! Ну? Что смотришь? Или не понял команды? — Говорил молодой. Пожилой угрюмо молчал. Но командовал операцией, видимо, он, стоя в десяти шагах позади и держа руки в карманах ладного осеннего пальто.

Конечно, они сразу поняли, зачем на почту бредет, прихрамывая, лейтенант. Воронцов начал мучительно вспоминать, есть ли в канале ствола патрон. В бою он всегда досылал его, ставил пистолет на предохранитель и засовывал за ремень. Перед тем, как грузить раненых, он сунул «вальтер» в сумку, а кобуру с ТТ сдвинул вперед. Ее вместе с ремнем сорвало взрывом. Но полевая сумка осталась. Она висела сзади. Есть ли там патроны вообще? Запасная обойма лежит в другом отделении. Достать ее он не успеет. Но если достать деньги и швырнуть им, то наверняка появится время, чтобы зарядить пистолет.

— Ладно. Я все понял. Ваша взяла. — Он нагнулся к сумке и, стараясь двигаться так, чтобы не насторожить их, расстегнул и нащупал сверток с тридцатками. Вытащил и бросил к

ногам.

— Подними, — приказал, поблескивая фиксой, молодой. — И брось ко мне вместе с ножом.

— Нож прошу оставить. Память о товарище. Думаю, понятно.

— Давай-давай, воин. Мы тебя тоже вспоминать будем.

Пожилой стоял неподвижно, как камень. Он, несомненно, опаснее. Возможно, в кармане не нож, а что-нибудь посерьезнее.

Воронцов нагнулся за свертком, сунул нож за шпагат, которым была перетянута увесистая пачка «тридцаток» и кинул в сторону фиксатого. Все пока получалось так, как он задумал. Сверток с ножом упал в траву в трех шагах от молодого. Он снова наклонился к сумке, взял ее и перекинул через плечо, и, продевая голову под ремень, краем глаза заметил, как пожилой едва заметно кивнул своему напарнику. Тот шагнул к свертку. И в это время Воронцов рванул из сумки «вальтер» и, щелкнув предохранителем, навел пистолет на пожилого.

— Всем лечь на землю! — закричал он и прицелился в лицо. — Руки из карманов! Еще одно движение, и я стреляю!

— Слушай, что говорят, Сосок, — сказал пожилой, вытащил руки из карманов и послушно лег на влажный песок.

Глядя на него, быстро улегся на землю и напарник.

Лейтенант вначале подобрал свой сверток. Прихватил и нож фиксатого и тут же с силой отшвырнул его в воду. Пожилой лежал не шелохнувшись. Воронцов подошел и похлопал по карманам.

— Пусто, кум, — услышал, наконец, Воронцов его хрипатый голос. — Пусто.

— Лечь на спину!

— Я тебе, начальник, не Зойка штатная, — снова засипел тот, ощерив изъеденные чифирем черные зубы, и попытался усмехнуться.

Воронцов ворохнул его ногой и тут же отступил на шаг.

— Второй раз говорить не буду.

— Смотри, кум, стрельнешь, патруль прибежит. Как оправдаешься?

— Выстрел в упор не слышен и за десять шагов. И пальго у тебя подходящее. Материя плотная, дорогая, должно быть. Звук погасит надежно.

— Понял-понял, начальник. Я пошутил.

Пожилой отвалился на спину, и Воронцов увидел присыпанный песком ГТ. Поднял, тоже бросил в воду.

— Сосок, у тебя какой размер сапог?

— Ты что задумал? — завертел спиной фиксатый.

— Ну?

— Сорок третий.

— Вот и хорошо. Значит, меняемся. Снимаю поживей.

Конечно, раздевать, а вернее, разувать пленного — дело последнее. Но Воронцов понял, что в сапогах, выданных госпитальным завхозом, он не дойдет ни до почты, ни тем более до госпиталя. Когда-то эта пара солдатских кирзачей, возможно, и соответствовала сорок третьему размеру, но с тех пор, хорошенько послужив своему хозяину в дождь и снег, сапоги усохли, мысы курносо задрались вверх, сплюснулись и упорно не желали распрямляться, съезжившись таким образом размера на полтора.

— Ты что, боец? Желаете разуть советского человека? Какой же ты после этого солдат?

— Снимай-снимай, советский человек... Я таких впереди себя в атаку гнал под автоматом.

— Зачем? — испуганно поинтересовался фиксатый.

— Смерть отпугивал. И от них, и от себя.

— А, понятно. Значит ты, начальник, фраерок битый. Штрафными, что ль, командовал? Они обменялись вначале правыми сапогами, потом левыми.

— Ну что, в самый раз? Или жмут? А то давай заберу, а ты себе другие найдешь.

— Ничего, сойдут, — смирившись с потерей, с готовностью согласился фиксатый.

Перспектива остаться вообще без сапог его не радовала.

— Досчитайте до тысячи и вставайте. — Воронцов оттянул затвор «вальтера»: патрон лежал в стволе. — Не вздумайте встать раньше времени.

— Что ж ты, фраерок, на фронте сапогами приличными не разжился? А? Говоришь, командиром был. Вроде не самый последний начальник, а без сапог.

— А ты почему не на фронте? С такой харей! Почему? — И Воронцов одним прыжком подскочил к фиксатому и ударил ногой в подреберье.

Фиксатый скорчился от боли, выплюнул кровавый сгусток.

— Ты что! Контуженый?!

— Да. У меня четыре ранения и две контузии. Так что полчаса лежать всем смирно.

Воронцов засунул пистолет в карман, взял палку и пошел к причалу. Вскоре стал виден буксир «Политотдел» с помятыми боками, обметанными рыжей ржавчиной. Над ним кружили ослепительно-белые чайки. Он шел по той же стежке, которая привела его сюда. С палкой было легче. Но на сапоги он старался не глядеть. И ударил он фиксатого зря. Можно было просто уйти. Нет, от этих просто так не уйдешь.

Почтовое отделение оказалось закрытым. Воронцов взглянул на часы. До открытия оставалось пятнадцать минут. Вот почему блатняки пошли за ним. Офицер, явно из госпиталя, идет к почте — зачем? Посылки в руках нет. Значит, идет отправлять почтовый перевод. А почта закрыта. Офицер-то и поперся к реке, в безлюдное тихое местечко...

О том, что случилось, он не рассказал никому. Когда же Лидия Тимофеевна, принимая одежду, удивилась новым сапогам, он сказал:

— Снял с одного блатного. Обменял. Те мне оказались малы.

В ответ Лидия Тимофеевна рассмеялась:

— А ты, сынок, шутник! — И, принимая сапоги, спросила: — А где же оставил казенные?

— Я же сказал: обменял. Они мне немного жали.

Лидия Тимофеевна покачала головой, разглядывая добротные сапоги, пахнущие дорогим гуталином.

Глава вторая

Фузилер Бальк до середины октября пролежал в лазарете в небольшом городке на севере Германии. Госпиталь, приютивший их, искромсанных на Восточном фронте, был небольшим. Три палаты, каждая на двадцать человек. Все раненые — солдаты, от рядового до фельдфебеля. Все оттуда, где война оказалась особенно жестокой, и по отношению к ним, солдатам вермахта, и по отношению к противнику, и к гражданскому населению. Там, на Востоке, шла не просто война, там день и ночь длилась чудовищная бойня. И всем казалось, что оттуда невозможно вернуться живым, не искалеченным. Еще год назад Бальк с ужасом и сочувствием смотрел на вернувшихся из госпиталей. Потерять руку или ногу для него казалось невыносимым. А теперь... В их маленьком госпитале никто никогда не говорил о России. Многим не хотелось даже думать о бесконечных степях, угрюмых лесах и комариных болотах; о бездорожье и яростных атаках иванов, которые в последние месяцы совсем озверели.

Только однажды сосед по койке, шютце Нойман из подразделения горных стрелков, проснувшись среди ночи, вдруг сказал:

— Представляешь, они не берут пленных.

Он неподвижно смотрел в потолок. Его слышал не только Бальк. Ноймана привезли из-под Ленинграда. Он получил несколько пуль в обе ноги. Многим в эту ночь не спалось. Где-то на побережье хлопали зенитки и выли сирены воздушной тревоги. В любую минуту могли войти в палату дежурные санитары, включить свет и объявить о срочной эвакуации.

Бомбоубежище построили недавно. Военнопленные иваны из лагеря, расположенного неподалеку. Оно состояло из нескольких блоков, с вентиляцией и освещением, с деревянными лежаками, точь-в-точь такими, какими оборудовались на Востоке землянки и блиндажи.

Никто не ответил Нойману. Но все поняли, что он имел в виду. Их раны потихоньку заживали. После лазарета почти всех ждал отпуск на родину. А после снова Россия. Проклятая Россия. Проклятый Восточный фронт, хуже которого в этой войне, кажется, уже ничего нельзя было придумать.

Они, признаться, тоже неохотно брали пленных. Особенно в последнее время. Иваны не поднимали рук даже тогда, когда положение было уже абсолютно безнадежным. Конечно, были и перебежчики. Но если первые вызывали ярость, то вторые чувство брезгливости. Для того, чтобы спустить курок в ближайшем овраге, а значит, и не вести пленных далеко в тыл, в одинаковой мере подходило любое из этих чувств.

Через несколько дней после операции, во время которой хирург вытащил из тела фузилера Балька сплюсненную пулю, по радио сообщили, что на Восточном фронте германские войска начали крупнейшую операцию. Лучшие танковые дивизии и корпуса групп армий «Юг» и «Центр» в эти минуты наносят сокрушительный удар по обороне русских на участке фронта от Орла до Белгорода, самолеты люфтваффе постоянно в воздухе. Среди выведенных из строя танков противника много Т-34 и КВ. Уже удалось сокрушить первые линии обороны русских. Трофеями ударных частей вермахта стали сотни русских танков, реактивных пусковых установок, тысячи орудий и минометов. Колонны пленных в настоящее время движутся в германский тыл. В них сотни и тысячи солдат и офицеров.

И Арним Бальк, и другие раненые, кто успел изодрать в окопах на Востоке не один

мундир, слушали бодрые сообщения диктора и заявления фюрера внимательно, стараясь уловить подтекст. Нет ли в нем тревожных ноток. Они-то знали, что радио и газеты Третьего рейха существуют не для того, чтобы сообщать правду. Зачастую сводки Министерства пропаганды заходили в абсолютное противоречие с реальным положением дел.

— Наши «шпуки», конечно же, разутюжат любую цель, — говорили в курилках те, кто уже не первый раз попадал в госпиталь. — Но если иванов бьют в колоннах, то одно из двух: либо они отходят, а значит, вот-вот займут новый рубеж обороны, либо подтягивают резервы, что еще хуже.

— Иванов всех не перебить! Они — как саранча!

— У фюрера тоже есть резервы!

— И где же они? Когда нас везли сюда в кровавых бинтах, я что-то не видел!

— Не отчаивайся, старина, резерв есть. Это — мы!

На такие шутки отвечали мрачным молчанием или злобным смешком.

— Еще одного Сталинграда наша армия не выдержит.

Слово «Сталинград» действовало магически. Кто произнес, они уже не могли вспомнить. Казалось, оно само прозвучало в плотно набитой солдатами тесной курилке.

— Уже подчищают тылы. Всех — под метлу! Разве вы не видели, кого прислали с последним пополнением? Больные очкарики и дети! Какие это солдаты?! С такими разве можно наступать?

— Ничего страшного. Все должны воевать. Долг перед родиной обязывает.

— Но дети...

— Выходит, русские сильнее нас?

— Русские не одни. Англичане, американцы, французы, югославы, греки, новозеландцы, канадцы, австралийцы! Все — против нас! Весь мир! Почему так?

— А я говорю, все дело в том, кто сидит в окопе. Там, на передовой. Нет уже тех парней, с которыми мы шли к Москве.

— Да, их уже нет. Ты прав, старина.

— Вот я и говорю: все началось там, на Востоке! Там мы нашли все наши несчастья. И они теперь, как чума, как тиф, перекинулись и на побережье, и в Африку, и на Балканы.

— Да, старина, везде туго.

— Россия — проклятое место. Это — заколдованная страна.

— Крестьяне живут там почти в нищете. Вы видели, какие у них жилища? Дети голодные. А ночью они уходят в лес, в партизанские отряды и жгут наше имущество, взрывают мосты, портят связь. Значит, им нравится так жить!

— Рабы. Россия — страна рабов. Они служат большевикам и жидам, что, по сути дела, одно и то же. И к этому привыкли.

— Те не отнимали у них последнего. Вот в чем причина.

— Просто — рабы. Примитивный народ.

— Вы болтаете о пустом. Россия — великая страна. И нашей армии она не по зубам. Вы говорите, примитивный народ, рабы? А кто же создал величайшую культуру? Их музыка, литература, живопись, архитектура на уровне европейской и даже выше.

— Помолчи, Курт. Мы не знаем, кто прибыл вчера и позавчера...

Иногда разговоры прерывал раздраженный голос какого-нибудь пожилого фельдфебеля, воевавшего еще в Первую мировую войну, который советовал им, соплякам, помолчать и готовиться к выписке прямой дорогой назад, на Русский фронт. Потому что все другие

дороги им, побывавшим там, заказаны.

— Сталин дал своим иванам хорошее оружие, — снова начиналось все сначала. — Ты попадал под атаку «катюш»? А я попадал.

— Да, танкисты говорят, что в открытом бою с их новыми тяжелыми танками лучше не встречаться. Даже на Т-34 они установили новую, более мощную пушку.

— Наши «тигры» и «пантеры» значительно лучше!

— Посмотрим. Сейчас они дерутся там, в русской степи. Через день-другой все решится.

— Когда под Сталинградом рвали на части Шестую, до самого конца шли бодрые сообщения. И чем это кончилось? Правда оказалась ужасной.

— Да, этого не забыть.

Боли в груди еще донимали Балька. Доктор сказал, что, возможно, все осколки разрывной пули извлечь не удалось. Некоторые из них, величиной со спичечную головку и даже меньше, вросли в ткани, и лучше их не трогать. Другое дело, если они начнут беспокоить... Бальк все понял: доктор оставлял ему шанс в любой момент обратиться к врачу. Доктор был пожилым и добрым человеком. Он понимал все, возможно, многое, совсем не так, как понимали они. Пулю, деформированную от удара в плечевую кость, он подарил Бальку на память. Теперь она лежала в ящике тумбочки среди письменных принадлежностей. Однажды он показал ее Нойману. Тот повертел, взвесил на ладони и сказал:

— Калибр семь-девятьсто два! Арним, ты что, попал под огонь своих?

— Нет. Мы отбивали атаку. Я стрелял из Schpandeu. Со мною рядом был ротный командир. По пулемету вел огонь снайпер. Он многих положил. Ребята потом рассказывали.

— Но пуля-то наша.

— Унтер-офицер Байзингхоф всегда таскал с собою русский ППШ.

— Ну да, хорошая штука. Ты хочешь сказать, что и в тебя иван пальнул из трофейной винтовки?

— Возможно. Но тогда тем более обидно.

— Иваны палят по нам из всего, что стреляет. — Нойман поправил вначале одну, а потом другую затекшую ногу. Они были упрятаны в гипсовые коконы, похожие на зимний камуфляж, надетый поверх бриджей. — Однажды мы стояли в небольшой деревушке на берегу Угры. Так называется их река. Дело было недалеко от Юхнова. Это — между Смоленском и Москвой. Мы уселись делить сухой паек. И вот, представь себе, сидящий вокруг горы консервных банок взвод. И вдруг в эту гору падает русская Ф-1 в чугунной оболочке. Четверых парней мы похоронили сразу. Восьмерых, раненых, отволокли в медпункт. Один тяжелый, вряд ли выжил. Во всяком случае, к нам в роту уже не вернулся. А меня даже не задело. И что оказалось? Гранату бросил мальчишка. Его тут же поймали. У него в кармане была еще одна граната. Он не успел вставить капсюль-воспламенитель. Он хотел, видимо, то ли себя взорвать, то ли еще одну во двор бросить.

— Откуда у них такой фанатизм?

— Они защищают родину. Семьи. Жилища. Землю.

— Ну, положим, земля им не принадлежит. Земля там колхозная. У русских крестьян во владении только один огород. Совсем маленький. У них нет понятия: моя земля. Того корневого чувства, которое в народе все скрепляет.

— Ты ошибаешься. Иначе бы они не сражались до последнего патрона.

— Так вот, потом мы узнали причину, почему тот мальчишка так поступил. Днем раньше какой-то ублюдок из нашего взвода изнасиловал его сестру. Вот он и отомстил. Мы потом узнали, кто это был. Командир роты приказал помалкивать, хотя сам ему потом спуска не давал. Поручал самую грязную работу. Во время взрыва гранаты его почти не задело. Отделался легкими царапинами. За него расплатились другие. Что и говорить, этого маленького русского ивана можно понять. Как бы ты сам поступил, если бы твою сестру или девушку...

— Жаль, — Бальк задумчиво покачал головой.

— Ты о чем? — Нойман снова, поморщившись, поправил ноги, стараясь лечь на бок.

— Жаль, что тот русский мальчик не успел бросить вторую гранату, — неожиданно сказал Бальк.

Они не разговаривали несколько суток.

В августе стали поступать тревожные сообщения. Оставлен Белгород, Орел, Хотынец... При упоминании Хотынца и Жиздры фузилер Бальк вздрогнул. Значит, позиции его полка прорваны и что с товарищами, защищавшимися на Вытебети, неизвестно.

— Ничего нельзя понять, — пожимали плечами раненые, сгрудившись у радиоприемника, стоявшего на столе рядом с портретом фюрера.

— Эти болтливые кретины из Министерства пропаганды...

— Наступаем мы или уже нет?

— Скоро узнаем.

И действительно, вскоре санитарные эшелоны, прибывающие с Востока, начали привозить тысячи раненых, искалеченных и умерших в дороге. Эшелоны прибывали из-под Харькова и Чернигова. Раненых сортировали и разбрасывали по госпиталям. Несколько человек привезли и к ним.

— Они постоянно бросают в бой свежие части! — рассказывали вновь прибывшие.

— Нашу Сто девяносто восьмую просто вышвырнули из Белгорода!

— «Восемь-восемь», которую мы прикрывали, подожгла пять русских танков! Шестой сровнял с землей все три пулемета и разбил первым же осколочным снарядом нашу противотанковую пушку. Русский тяжелый танк искромсал позицию осколочными снарядами, отутюжил гусеницами. Трупы артиллеристов невозможно было отделить от земли.

— Там был настоящий ад.

— Мы заняли траншею в полукилометре западнее и нам объявили, что если мы и здесь не удержимся, расстреляют каждого десятого. Просто построят и — каждого десятого...

— Придержи язык, парень, — сказал кто-то из раненых новоприбывшему.

— Да, за это можно загреметь.

— Самое худшее, что может с нами произойти, нас снова отправят на Восток.

— Так оно и будет, дружище. Наши дивизии стоят там.

— К тому же среди нас нет эсесманов или «цепных псов»^[2]. Ведь нет? Их лечат в других госпиталях. Значит, никто не донесет.

— Я слышал, что говорили офицеры, — рассказывал другой раненый. — Мы дрались две недели. Ни дня отдыха. Даже ночью нас поднимали по тревоге. В тылу тоже не было покоя. Партизаны. Они нападали на наши обозы, в том числе на санитарные. Так вот через две недели боев в нашей Тридцать девятой дивизии оставалось всего триста штыков при шести офицерах. И я это слышал вечером, а утром нас пополнили шестнадцатью папашами

из обоза и снова бросили в бой.

— Это был ад. Ад. Больше ни с чем это сравнить нельзя.

Вечером Нойман произнес первую фразу за неделю.

Она была адресована Арниму Бальку, и оказалась короткой, после нее снова долго можно было молчать.

— Арним, дружище, хорошо, что мы туда не попали. — Нойман произнес это тихо, одними губами, так что понять его мог только Бальк, лежавший на соседней кровати.

Раненые, прибывавшие в последующие дни, рисовали унылые картины отступления. Потом заговорили о «Линии Вотана». Появилась надежда, что русских остановят на линии рек Днепр и Десна. Бальк слушал и вспоминал. Однажды, когда воинский эшелон, который вез их к фронту, проезжал по мосту возле небольшого городка, он увидел крутой правый берег, возвышавшийся над округой. Какая великолепная позиция, подумал он тогда. Но кто ее теперь будет удерживать? Лучшие дивизии поглотила «Цитадель». Все так говорят, даже офицеры. Первокласные и хорошо вооруженные дивизии. Такую мощь! Бальк вспомнил леса и перелески, заполненные бронетехникой и войсками. И они не смогли опрокинуть русских? Тогда какая же сила перла с Востока? И, судя по всему, она не исчерпала себя до конца, а значит, будет продолжать атаковать. Вырвавшиеся из этого ада подтверждают, что русские постоянно наращивают силу удара, вводят в дело новые и новые резервы. Оставалось надеяться, что наступление русских выдохнется. Так произошло под Москвой и под Сталинградом. Правда, тогда германским войскам пришлось дорого заплатить за то, чтобы иваны в конце концов остановились и начали закапываться для обороны.

Бог мой, думал Бальк, Нойман сказал правду. Но что будет с Германией? С нашими семьями? Неужели никто не думает об этом? Гитлер думает. И конечно же, не допустит катастрофы. Германия победит. Хотя остановиться надо было давно, еще пять лет назад, на присоединении Судетской области^[3].

Рана уже затянулась, но еще гноилась. Запах гниющей плоти временами донимал Балька. Но это был свой запах. К нему он уже привык. Раненые быстро привыкают к своему состоянию. Особенно когда кругом такие же бедолаги, а то еще и похуже. Некоторым, конечно, досталось крепко. Бальку повезло. По крайней мере, все части тела целы.

Прошло еще две недели. Наступил сентябрь. И однажды Бальку сказали, что через несколько дней его выпишут.

И действительно, спустя два дня рядовой фузилерной роты Бальк, одетый уже не в больничную пижаму, а в полевую форму, стоял на площади, вымощенной серой брусчаткой. В нагрудном кармане кителя рядом с солдатской книжкой лежало отпускное свидетельство. Перед ним возвышалось здание железнодорожной станции. За плечами торчал ранец с кожаным верхом, в котором лежали солдатские принадлежности и несколько пакетов со свастикой. Пакеты Бальк получил сегодня утром после построения, когда их, выписанных из лазарета, кого обратно на фронт, а кого в двухнедельный отпуск на родину, торжественно поздравили с выздоровлением, напомнили о солдатском долге перед рейхом и фюрером. Когда речи утихли, красивые девушки, видимо, из штата госпитальной obsługi, вручили им всем подарки. Из пакетов приятно пахло. Позже Бальк внимательно изучил подарок от фюрера: в пакетах была колбаса, сыр, ветчина, несколько банок рыбных и мясных консервов. А еще — две пачки сигарет «Юно».

Возле сквера стоял наряд жандармов. Проходя мимо, Бальк отдал честь. Надменные дармоеды, тыловые крысы, подумал он. Но вступать в конфликт нельзя — все могло

закончиться серьезной неприятностью. По дороге к вокзалу он наблюдал такую сцену. Двое отпускников, видимо хорошенько подвыпившие, фронтовики, потому что за их спинами торчали стволы карабинов К98к с потертыми прикладами, о чем-то спорили с жандармами. Те остановили солдат посреди дороги, проверяли документы, при этом задавали какие-то вопросы. И сами вопросы, и тот тон, каким они задавались, как видно, раздражали отпускников. Те все больше и больше распалялись. Дело явно шло к серьезному конфликту. Случись такое на передовой, где-нибудь в окопах на Десне или на Вытебети, уже давно вспыхнула бы драка. Но здесь, в тылу, эти проклятые шупо властвовали безраздельно. Жандармы громко спрашивали. Отпускники громко отвечали. Один из них с искаженным лицом вдруг начал выкрикивать оскорбления. И тогда старший патруля разорвал отпускное удостоверение и бросил под ноги кричавшего. Солдат мгновенно замолчал, побледнел, вытянулся, резко повернулся кругом и зашагал в сторону берега. Его товарищ, выхватив листок со своим удостоверением, которое, к счастью, уцелело, побежал следом. Видимо, они прибыли сюда на катере или пароме. Солдаты исчезли возле пирса и больше не возвращались.

Жандарм вдруг окликнул его, Балька, все это время с любопытством наблюдавшего эту сцену. Пришлось вытаскивать документы. Возвращая солдатскую книжку и лист с печатью, подтверждающий то, что он следует в двухнедельный отпуск в город Баденвайлер, где проживает его семья, и что срок отпуска заканчивается такого-то числа октября месяца 1943 года, он сказал:

— Вам следует постричься, шютце Бальк. Парикмахерская находится в двух шагах отсюда.

«Какая сволочь», — испуганно и растерянно думал Бальк. Он шел в сторону вокзала и трясущимися руками запикивал в нагрудный карман френча документы. Сегодня на построении ему вручили долгожданный черный знак «За ранение»^[4]. Быть может, именно он и помог благополучно разминуться с жандармами. Во всяком случае шупо, рассматривавший документы, несколько раз скользнул взглядом по черному знаку.

В парикмахерскую Бальк не пошел. Не позднее завтрашнего дня он будет дома. А там у него есть прекрасный мастер — мама. Она всегда стригла его, с возрастом меняя прическу, делая ее сложнее и изысканнее. Папу она стригла тоже. По этому поводу была семейная шутка: «Своих баранов буду стричь сама!» Да и денег у Балька на парикмахера не оставалось. Он рассчитал все. Маме решил купить хороший подарок. Вообще-то отпускники с Восточного фронта подарки домой не покупали в магазинах, их везли из России в изобилии. Россия для германских солдат вот уже третий год была огромным магазином, полевым складом, где можно было взять все, что пожелаешь, выбрать то, что больше тебе подходит или может понравиться родственникам или девушке. Но так сложилось, что домой из России он ехал через лазарет. Ему не поменяли даже мундир. Прачки выстирали китель и бриджи, а потом хорошенько заштопали.

На перроне стояли солдаты. Курили, весело переговаривались. Судя по поношенной, но тщательно приведенной в порядок одежде, фронтовики. Видимо, тоже отпускники, подумал Бальк и невольно оглянулся: жандармы стояли все там же и не обращали на ожидавших поезда никакого внимания. «Был бы здесь унтер-фельдфебель Штарфе, — подумал он, — черта с два бы вы посмели с нами так разговаривать». Но в следующее мгновение он вдруг представил, что жандармы точно так же, как тех двоих, сошедших на берегу с какой-то посуды и на радостях выпивших в первой же забегаловке, остановили бы и их со Штарфе.

И что бы сделал против них пулеметный расчет МГ-34? Пожалуй, ничего. Точно так же, как тот несчастный, Штарфе обматерил бы их, сделал правильный поворот кругом и, убитый внезапным несчастьем, зашагал бы назад, к пристани. Пока не отчалила посудина, которая доставит его назад, в свой полк, в свою роту, в свой взвод, где к тебе относятся по-товарищески и где из-за пары стаканчиков шнапса не будут рвать документы. Да, с этими откормленными кабанами можно разговаривать только в развернутом строю. Но там, в окопах, их нет. Ни одной жандармской бляхи за все время пребывания на передовой он не видел. Это называется: каждый на войне выполняет свою работу. Что и говорить, непьющая она у этих парней. Вон какие заливки отъели. Здесь не заболеешь малярией, не покроешься фурункулами. Тебя не станут пожирать оравы вшей и блох.

На всякий случай он повернул в сторону улицы, где находилась парикмахерская. Но, зайдя за первый же дом, перешел на другую сторону и, немного выждав, пристроился к группе солдат и провожающих их женщин, вернулся на перрон.

Как хорошо, что он едет домой!

Бальк закурил, хотя врач и запретил ему. Потому что разрывной пулей оказалось задето легкое. А это серьезно. Правда, не так, как ночная атака русских, пусть даже и без артподготовки, и ограниченными силами, но все же — атака, и именно на том участке, где твой Schrandeu, как ни крути, главное действующее лицо. Так что можно и покурить. Ему подарили целых две пачки «Юно»! По фронтовым меркам — целое состояние. Все-таки фюрер Великой Германии заботится о своих доблестных солдатах.

Да, теперь, думал Бальк, когда я вернусь в свою роту, старик обрадуется. «Ты вернулся! — скажет он, глядя из-под кустистых бровей, как смотрит на солдат, которых особенно ценит. И тут же всучит обмотанный лентами тяжелый Schrandeu. — Он давно ждет тебя, сынок». И прикажет в течение двадцати четырех часов подобрать второго номера из нового пополнения. Ветеранов не даст. Да те и сами не пойдут. И вовсе не потому, что он слишком молод, чтобы заставлять солдата, воевавшего под Вязьмой и Калугой, без конца протирать затвор, набивать патронами ленты и следить, чтобы каждый сидел в ячейке правильно, чтобы в коробку не попал песок. Просто те, кто побывал в боях, хорошо знают, что такое пулемет. У него слишком много врагов: миномет, противотанковое орудие на прямой наводке, снайпер, крупнокалиберный пулемет противника. А в последнее время иваны наладились стрелять по пулеметным расчетам из противотанковых ружей. От такой пули со стальным сердечником невозможно укрыться даже за штабелем мешков, наполненных песком.

Бальк курил, прислушиваясь к реакции легких на табачный дым. Под горлом накапливался ком, он щекотал, но не беспокоил. Рядом стояла группа отпускников с нашивками мотопехотной дивизии «Великая Германия». Эти парни и здесь, на перроне, чувствовали особое положение. Разговаривали громко, оглушительно и нарочито заразительно смеялись своим шуткам. Вокруг были свалены целые горы чемоданов, чемоданчиков и разнокалиберных баулов. Как будто настоящие повозки выкатились на перрон и образовали затор, сгрудившись в беспорядке вокруг людей, стоявших в ожидании эшелона. Целые обозы! Что ж, хорошее настроение было логичным и понятным. Солдаты ехали с фронта. Они возвращались из России. «Великая Германия» дралась где-то на юге, под Харьковом, в районе Ахтырки. Почему их занесло сюда, на север? Видимо, здесь родина этих счастливых, догадался Бальк. Последняя пересадка перед домом.

Он пускал перед собой синие кольца дыма. Этому занятию его научил Штарфе.

Удивительное дело, с унтер-фельдфебелем он воевал всего ничего, а вспоминает его чаще, чем кого бы то ни было. Обаяние личности? Бальк вспомнил эту фразу, суть которой когда-то заинтересовала настолько, что он проштудировал несколько книг и погрузился в философские трактаты, которые нашел в университетской библиотеке. Все, что он узнал и смог постичь, менее всего подходило к его бывшему первому номеру. Но тем не менее Бальк испытывал к погибшему товарищу и наставнику именно эти чувства. И тут ничего не поделаешь, в конце концов понял он. Все надо вначале пережить, потом придет осмысление. В том числе и всего того, что мы натворили на Востоке. И что еще натворим и с Европой, и с Германией.

Сине-сиреневые кольца-облака расплывались перед ним. И вдруг в самом центре очередного кольца Бальк увидел несколько точек. Они казались неподвижными, но увеличивались с каждым мгновением. Вот уже можно было разглядеть их боковые отростки. Он мгновенно понял, что это. И тут же, как неизбежное продолжение реальности, на берегу возле пирса захлопали зенитки.

— Воздух!

— Самолеты!

— В укрытие! Скорей! Скорей!

Все произошло так быстро, что даже он, не единожды переживший налеты русских пикирующих бомбардировщиков и три раза попадавший под штурмовку летающих танков Ил-2, не успел найти лучшего укрытия, чем лечь прямо у края платформы на заплыванную землю. Он уткнулся носом в спасительную благодать земли, чувствуя слева, откуда появились самолеты, высокий косяк бетонной плиты. Она-то его и спасла. Взрывная волна и осколки первых бомб скользнули по платформе и, сметая не успевших укрыться людей, их багаж, чугунные каркасы лавок, выкрашенные в черный цвет, и белые гипсовые вазоны с цветами, пронесли над его затылком и зашлепали по деревьям примыкавшего к вокзалу сквера.

После первой волны самолетов показалась вторая. Бальк понял, что удар направлен на станцию. В тупике стояло много вагонов и несколько паровозов под парами. Все они были разбиты сразу же. Оттуда валил пар и черный дым мгновенно вспыхнувшего пожара. Загорелись вагоны и цистерны, и с каждой минутой они разгорались все сильнее и сильнее. На путях, среди разбросанных шпал и вывернутых, искореженных рельсов, метались какие-то люди. Видимо, охрана и машинисты разбитых паровозов. Бальк понял, что надо делать, чтобы уцелеть. Он вскочил на ноги, перемахнул через низкий парапет и метнулся через сквер в сторону пустыря. Там виднелись глубокие балки, похожие на противотанковые рвы, какие он видел в России. Отличие от русских было лишь в том, что эти заросли кустарником. Пустырь они вряд ли будут бомбить. Только бы успеть. В такие мгновения солдата спасает чутье, которое он приобретает за месяцы окопной жизни. Если пуля или осколок не находят его в первые дни на передовой. Включается некий неведомый доселе мотор, который направляет солдата туда, куда нужно. И, как правило, действует безупречно. Скорость — максимальная.

— Куда? — заорал жандарм, выскочивший откуда-то сбоку. Кажется, это был один из тех, кто остановил его час назад и приказал постричься. Бальк оттолкнул его руку, которой тот пытался ухватить за одежду, и метнулся в сторону от улицы, от домов и тротуаров. Жандарм не сидел в окопах под Вязьмой и Жиздрой. У него нет мотора выживания. Он и под бомбами думает о долге. Такие, если попадают на фронт, живут до первого боя.

Самолеты приближались стремительно. Теперь уже явственно захлопали зенитки на побережье. И тут же их стрельба потонула в грохоте бомбовых разрывов. Значит, бомбят и причал, и госпиталь, и концлагерь. Надо успеть добежать! Ноги несли так, как во время тренировок, когда старик бегал за ними с ореховой палкой, намереваясь огреть каждого, кто споткнется или окажется менее проворным, чем остальные солдаты роты. Вот и кусты. Они хлестали по лицу и рукам. Впереди бежал еще кто-то. Видимо, тоже обладал опытом выживания. Он мчался в теснину оврага, переходящего в ущелье. По дну тек ручей. Они не успели добежать до отвесной скалы, под которой можно было укрыться, как замелькали тени самолетов, позади и впереди загрохотало так, что земля содрогнулась, и сверху посыпались мелкие камни и земля, какой-то хворост и куски досок. Бежавший впереди упал. Бальк машинально, как не раз делал это в бою, подхватил его, поволок вперед.

— Скорее! Скорее! Туда!

Товарища нельзя бросать в трудную минуту. Потому что именно он спасет тебя, когда в переплет попадешь ты.

Они доковыляли до неглубокой пещеры и упали на сухой щебень. Взрывы, казалось, приближались. Сверху сыпались камни. По ущелью потянуло толовую гарь и черные струи дыма. Где-то неподалеку полыхал пожар. Одна из тяжелых бомб разорвалась в глубине ущелья. Их обожгло взрывной волной, которая пронеслась над ручьем как смерч, мгновенно выпарив всю воду. Они, оторванные от всего мира, обхватили друг друга руками и некоторое время сидели так, прижавшись к сырým камням пещеры, которая спасла их от взрывной волны и камней, продолжавших время от времени падать сверху.

Самолеты улетели. Кажется, они очнулись не сразу. Первым в себя пришел Бальк. Он огляделся и увидел, что на него испуганно смотрит девушка. Ну, конечно, мгновенно смекнул он, пахнет от нее не так, как пахнет от солдата. И как он сразу не сообразил?

— Нам повезло. — Он попытался улыбнуться.

Кажется, девушка еще никак не могла прийти в себя.

Зрачки были расширены. Бальк знал, что такое случается с контужеными.

— Все в порядке. Вставай. — Он подал ей руку.

Но девушка продолжала неподвижно сидеть, вжавшись в нишу, образовавшуюся в пещере.

— Наверх не стоит пока выходить. Я знаю, янки бросают бомбы с замедленными взрывателями. Они срабатывают через несколько минут, а иногда и часов. Очень коварные.

После боя Бальку всегда хотелось есть. Только унтер-фельдфебель Штарфе понимал его. «Это у тебя нервное, парень, — объяснил он ему однажды. — В таких случаях лучше выпить. Но ты не пьешь. Это плохо». Конечно, плохо, подумал Бальк, потому что вот сейчас он просто достал бы фляжку и сделал несколько глотков. Но он не пил. От спиртного его выворачивало. Как от вида и запаха трупов, когда он их увидел в первый раз. Тогда блевал весь шестой взвод. Все, кроме унтер-фельдфебеля Штарфе и еще троих ветеранов. Теперь Бальк не знал, как объяснить девушке, случайно оказавшейся рядом, что у него такая болезнь. Есть хотелось все сильнее и сильнее.

— Да, лучше побыть пока здесь, — сказал он. — Все равно состав не подадут, пока не расчистят пути и не восстановят стрелки.

Он снял ранец и начал расстегивать его. Из ранца вкусно пахло колбасой и свежим хлебом. Хлеб, казалось Бальку, пах еще приятнее, чем колбаса. Может, потому, что он напоминал ему родину. Батон был завернут в тонкую пергаментную бумагу, которая вся

промокла от масла. Все это он хотел привезти домой нетронутым. Другого подарка для матери у него не было. Но голод есть голод. Да и девушку, с которой ему Бог послал пережить эту бомбежку, надо было хоть как-то поддержать.

— Хочешь? — Бальк вытащил хлеб. Он знал, что с продуктами сейчас в тылу гораздо хуже, чем на фронте. — Давай, садись, угощайся.

И только теперь Бальк увидел ссадину на ее ноге. Кровь залила разодранный чулок и уже засохла. Он знал, что кровь засыхает быстро. Только у мертвых она не засыхает долго. Он вытащил индивидуальную аптечку, разорвал упаковку бинта.

— Давай перевяжу.

— Не надо, — ответила она по-русски, отчего он едва не выронил из рук аптечку.

— Ты что, русская? — И тут он увидел нашивку на простеньком сером платье с буквами: «OST». — Бог мой!

— Я сейчас уйду. Я работаю здесь, рядом. — Она пыталась говорить по-немецки.

— Да-да, — кивал Бальк.

Теперь, когда он узнал, кто она... И что, остановил он себя, я должен тащить ее в полицейский участок? Сдать первому патрулю? Она ведь не сбежала. Просто прячется от бомбежки. Так же, как и он. Что тут такого? Но сейчас, когда янки наделали столько бед, в этих тонкостях, пожалуй, никто разбираться не станет. Могут, под горячую руку, и расстрелять, как разведчицу, подававшую сигналы самолетам. Сейчас набегит полиция, гестапо. Начнут разбираться, искать виновных, не принявших своевременных мер и прочее... И все свалить на эту беднягу.

Бальк вздохнул, посмотрел на девушку и принялся резать колбасу и хлеб. Сделал два хороших бутерброда. Один протянул русской. За другой торопливо принялся сам.

Девушка какое-то время послушно держала хлеб, на который Бальк положил несколько добрых ломтей колбасы, потом, сглотнув, медленно покачала головой и протянула бутерброд назад.

Такие, как эта, всегда нравились Бальку. Красивая девушка, подумал он. Но ведь она русская. Бальк знал, что ему, германскому солдату, грозит за связь с неарийкой. Если те же шупо застанут их здесь, в пещере, то могут приписать ему именно это.

«Да плевать я хотел», — в следующее мгновение подумал Бальк, и уже теплее взглянул на девушку.

— Ешь, ешь, — сказал он и улыбнулся. — Угощайся.

Она откусила краешек и начала неторопливо жевать.

И он увидел, какие красивые у нее руки. Таких он еще не видел ни у одной женщины. Он снова улыбнулся и отвернулся, чтобы не смущать ее и не волноваться самому. Он попытался целиком переключиться на бутерброд, но это оказалось не так-то просто.

Пуля неслась над землей, густо изрытой окопами и снаряжными воронками. Она замечала, как копошатся внизу люди. Они стреляли друг в друга, таскали раненых и убитых, закапывали в ровики орудия, наводили переправы через речушки и болота, наступали, отступали. Но сейчас они не интересовали ее. Надо было сделать облет окрестностей и решить, что делать дальше.

Глава третья

Утром, когда стихла стрельба и наступающие части прошли на запад, экипаж сбитого Ил-2 и еще трое танкистов, машина которых сгорела, переправляясь вброд через Вытебеть, обнаружили на песчаной косе под черемуховыми зарослями разведчика. Он стонал, подтягивал к животу ноги и резко распрямлял их. Тело его дрожало, сведенное судорогой, от которой он пытался освободиться. Видимо, все еще пытался выбраться из реки.

— Командир, смотри. Кажись, разведчик. Камуфляж...

— А ну-ка, ребята, давайте вытащим его на берег. — И Горичкин первым бросился в воду.

— Мальчишка совсем, — сказал один из танкистов, когда раненого перевернули на спину и начали ощупывать тело.

— Вроде нигде ничего...

— Контужен. Вон воронок кругом сколько.

— Давайте-ка быстро режьте палки. Носилки сделаем.

В санчасть отнесем. Видать, здорово нахлебался. На бок его надо положить. Давай сюда, на солнце, тут ему лучше будет.

Они вытащили разведчика на берег, положили на нагретую землю. Вскоре он заворочался, и его тут же стошнило зеленой водой и песком. Озноб прошел, лицо порозовело. Немного погодя он уже попытался поднять голову.

— Лежи, лежи. Ты как сюда попал?

— Полковая разведка... Взвод... Взвод конной разведки... — бормотал разведчик, захлебываясь зеленой жидкостью.

— С коня упал, — пошутил кто-то из танкистов. — А как зовут тебя, конная разведка?

— Иванок...

— Иванок? Или Иванов?

— Иванок. Иванок меня зовут.

— Это что, фамилия такая — Иванок?

— Отстань от него. Хреново ему. Пока не проблюется... Давай-давай, разведка! Пошло-пошло!..

Танкисты выломали подходящие палки и принялись ладить носилки.

Только что заглянувшие в лицо смерти, потерявшие товарищей и боевые машины, сами чудом избежавшие участи лежавших теперь по берегам Вытебети и в лесу, они радовались, что найденный мальчик в пятнистом камуфляже жив и старались помочь, чем могут.

— А ну-ка, Елин, — приказал танкист напарнику, — давай фляжку.

— Думаешь, можно? Мальчишка ведь.

— Ты слышал, как этот мальчишка матом ругается?

Они засмеялись. Танкист Елин вытащил из-за пазухи помятую фляжку.

После глотка водки щеки и шея Иванка загорелись, на лбу выступили крупные капли пота.

— Ну вот, — засмеялся танкист. — Сразу и прижилась. Парень что надо. Добро не портит. Хороший танкист будет. Понесли его, ребята.

Иванок попытался встать, но одного желанья оказалось мало, и он повалился на бок, ткнулся лицом в землю, застонал. Его подхватили крепкие руки и переложили на носилки.

Понесли. Он колыхался на прогибающихся орешинах. Солнце грело лоб и щеку, но он почти не чувствовал его прикосновения.

Кругом лежали тела убитых. В нем, словно солнечный луч, пробившийся сквозь мокрую одежду, затеплилась надежда, что разведчики живы, что хотя бы кто-то из них спасся. Ведь не могли же погибнуть все.

Глава четвертая

Воронцова выписали из госпиталя в середине октября. Три месяца он пролежал в палате со спертым воздухом, где раз в неделю кто-нибудь умирал, откуда уносили на очередную операцию, а потом приносили без ног или рук, куда изредка приходили письма, которые читали вслух, по нескольку раз и с которыми засыпали, крепко держа в руках. Как надежду, что дорогое, родное и светлое, без взрывов и выстрелов, с чем однажды расстались, они еще обретут. Рай не может быть вечным.

— На фронт вам еще рано, — сказала Мария Антоновна. — Надо немного окрепнуть.

— Да ведь ноги больше не трясутся, — попытался пошутить Воронцов. — Смотрите! Вот! И ходить могу без палочки. — Он поставил трость в угол и продемонстрировал Марии Антоновне вновь обретенные способности.

— Однако ходите с палочкой, — заметила она.

И действительно, из той памятной палки, свидетельницы его нелепой стычки с блатняками, видимо, дезертирами, на берегу реки, он вырезал прекрасную трость, отшлифовал ее осколком стекла и обжег на костре.

— Хотите, я вам ее подарю?

— Нет уж, — ответила Мария Антоновна. — Вам она еще послужит. Думаю, не меньше месяца. У вас два варианта: либо направим в санаторий для выздоравливающих, либо будете поправлять здоровье дома.

— Домой, — коротко сказал Воронцов.

— А вы уверены, что там обеспечат хорошей пищей? Вы понимаете, о чем я говорю? Здоровая пища в достаточном количестве для вас сейчас самое важное. Подумайте. Вы же знаете, как сейчас живет деревня.

Воронцов знал. В Подлесном та же, картина, что и везде.

— Домой, — упрямо повторил он.

Забытым голосом детства, некой волшебной сказкой, вычитанной однажды в старом букваре, пахнущем кладовкой, прозвучало это слово: «Домой». Воронцова оно поразило своей очищенной, изначальной сутью. Ведь именно к ней и стремился он два года. Тот же самое он видел в глазах других бойцов, чувствовал в интонации речи, когда они рассказывали о своей родине. Тосковать о доме и родне на фронте не принято. Дурной знак: заговорил солдат о жене и детях, о деревне, о матери и отце, — глядишь, в первом же бою и упал, а то и вовсе — прилетела шальная пуля калибра 7,92...

Сборы оказались недолгими. Он быстро переоделся. Лидия Тимофеевна подобрала ему гимнастерку поновее. Шинель надел свою. Сапоги...

— На твои сапоги уже майор тут один зарился, — призналась завхоз. — Такой надоедливый дядька. Видать, привык на всем готовом, да на добром. Нет, говорю, товариш майор, это добро не мое, а фронтовика одного, которому не сегодня завтра тоже на выписку.

Воронцов молча намотал новые портянки и натянул сапоги. Что и говорить, хороши они были. На ноге сидели плотно, при этом ничуть не жали. Видать, с хорошего склада. Может, сняты они с такого же армейского офицера, где-нибудь на темной привокзальной улочке, или куплены на барахолке, а туда попали через оборотистого интенданта. Да, кому война, а кому мать родна...

Он попрощался с соседями по палате. Зашел к военврачу.

— Прощайте, Мария Антоновна.

— Прощай, Воронцов. Больше к нам не попадай.

— Не обещаю. Лучше к вам, чем...

— Лучше пусть тебя минуют все напасти. Все пули пусть пролетят мимо. — И она неожиданно обняла его и поцеловала в щеку.

— Желаю вам счастья, — собрался он напоследок, взволнованный ее порывом.

Из госпиталя он вышел уже к полудню. В сквере напротив спорили, подскакивая друг над другом в воинственном азарте, воробьи. Тоже что-то не поделили. Под ногами лежали желтые и багровые листья. Солнце, сквозившее пологими лучами через липовую аллею, золотило листву, делало ее ослепительной. Воронцов оглянулся на окно офицерской палаты и увидел, что клен почти весь облетел. Окно сияло голубоватым отражением вылинявшего, будто застиранного осеннего неба. В него кто-то смотрел. Воронцов махнул рукой и пошел в сторону вокзала. Оттуда через два часа должны отправляться машины со срочным грузом в сторону Малоярославца. А уж оттуда он до дома доберется быстро. Если на машине, и без пересадок, то часа три-четыре до березы. А там часа два-три ходу. Но если бегом... Нет, бегом у него теперь не получится. Даже с тростью.

Все эти дни перед выпиской, понимая, что, возможно, отпустят на неделю-другую домой, а может, и вовсе комиссуют из армии или спишут в тыловую службу, он думал, куда же поехать вначале, если судьба все же пошлет ему счастье побывать в отпуске. В Прудки? Навестить дочь и Зинаиду с Пелагеиными детьми? Или домой, в Подлесное? Деньги он им посылал всегда поровну. О том, как живется, ни Варя, ни Зинаида не писали, но иногда, между строк, или в самом тоне их он чувствовал, что — трудно. Знал и от других бойцов и офицеров, чьи семьи тоже побывали в оккупации, что жизнь на освобожденной территории была тяжелой. Да если еще и дома сожжены... Подлесное ни немцы, ни наши, и когда отступали, и когда наступали, не тронули. В Прудках тоже отстроились уже. И домой, к матери, в родное Подлесное сердце рвалось. И в Прудки, к Уле и Зинаиде, к Пелагеиным сыновьям надо заехать. Ведь он поклялся их не бросать. И Зинаиде. И Кондратию Герасимовичу.

И Воронцов в конце концов решил так: если случится добираться перекладными, то заедет в Прудки. А уже потом навестит и своих.

Своих... А разве Улита, Зинаида, Прокопий, Федя, Колюшка теперь не свои ему?

Воронцов шел по тротуару, выложенному белым известняком. Постукивала палка. В вещмешке позванивала ложка, которую он неосмотрительно, не по-фронтальному бросил в мешок прямо сверху, и вот теперь она при каждом неосторожном шаге шлепала по банке. В дорогу ему выдали сухой паек на несколько дней. Четыре больших банки американской тушенки, несколько рыбных консервов, порядочный кусок сала, маргарин и две буханки хлеба. Рыбные консервы без этикеток. Сардины. Он это знал точно. Такие выдавали как офицеру в штрафной роте в качестве дополнительного продовольственного пайка. Тяжесть вещмешка радовала. Целый взвод можно накормить. Вот сестры обрадуются, подумал он, закидывая за спину вещмешок. И сразу решил: половину отвезет в Подлесное, а другую половину — в Прудки.

Вначале он все же решил ехать к матери, в Подлесное. Возле железнодорожной станции отыскал склады. Спросил часового, когда отправляются машины на Малоярославец. Тот, увидев его нашивки и ордена, уважительно и весело, как будто на родину им сейчас ехать вместе, ответил:

— А вон, товарищ лейтенант, грузятся! На Малый и поедут! Хотите, я с шоферами переговорю? Ребята все знакомые. Не откажут. — В голосе и несколько суетливых движениях часового чувствовалась та простодушная солдатская готовность не то чтобы услужить, а послужить командиру, пускай даже незнакомому, какую Воронцов часто встречал на фронте.

— Спасибо, браток. Я сам. — И с благодарностью кивнул часовому.

Командовал погрузкой пожилой старшина с кантами и эмблемами интендантской службы. Воронцов поздоровался, предъявил документы и сказал, что ему нужно сегодня быть в Малоярославце.

— Из госпиталя? — поинтересовался старшина.

— Да. В отпуск, на долечивание.

— Подкормиться отпустили. Так-так. — Старшина окинул его внимательным взглядом, задержался на мгновение на орденах в распахнутой шинели. Было жарко, вот Воронцов и растегнулся, и, как оказалось, кстати. — А там, видать, и самим есть нечего. А, лейтенант?

Воронцов ничего не ответил.

Погрузка, как понял лейтенант, шла к концу. Шофера весело переговаривались, пересчитывали ящики, поправляли брезент, заботливо подтыкали края.

— Подчистую списали? Или как? — Старшина снова посмотрел на его ордена.

— Я же сказал, что в отпуск. Через месяц, не позже, переосвидетельствование. А там комиссия решит.

— Комиссия решит — на фронт. Если только что-нибудь с внутренними органами не в порядке.

— Да с органами у меня все в норме. И с внутренними, и с внешними.

Старшина засмеялся. Подмигнул:

— Женат?

— Пока еще нет.

— Ну да, молодой еще. — И крикнул водителю, который закрывал задний борт: — Козлов, возьми лейтенанта до Малоярославца. Понял?

— Не положено. Вы же знаете. — Голос Козлова, меланхоличный, тихий, словно пробовал старшину, словно тянул из него что-то.

— Знаю. Потому и говорю: лейтенант до Малоярославца поедет в твоей машине. А вот в дороге никого не подбирать. В дороге действовать строго по инструкции.

— Все понял. Будет исполнено. — Козлов расставлял слова редко, старательно, будто шпакетины прибывал. Прежде чем прибить, примерял, чтобы косо не вышло. Посмотрел на Воронцова и улыбнулся: — Садитесь, товарищ лейтенант. Стоять-то вам, с палочкой... И разрешите все же ваши документы. У нас тут хоть и тыл, а война — недалеко.

Воронцов вытащил из кармана удостоверение, справку из госпиталя, предписание и все, что перед дорогой предусмотрительно сложил в самодельное портмоне на случай проверки.

Вскоре выехали. Машины потянулись по разбитой дороге, выбрались на окраину города, за которой стоял лес — молодые еловые и сосновые посадки, местами будто съеденные пожаром.

— Где воевали? — спросил водитель, когда они отъехали от города и дорога пошла поровнее.

— Да тут и воевал, недалеко. На Варшавке. В первую осень.

— С сорок первого, что ль, на фронте?

Воронцов кивнул.

— Тут в сорок первом курсанты оборону держали. — И водитель покосился на Воронцова, будто измеряя ширину его плеч. — Не из них ли будете?

— Из них. Шестая рота. Пехотно-пулеметное училище.

— То-то выправка видна. А ранили где?

— В последний раз под Жиздрой. В июле.

— Во время наступления, что ль?

— Да, вперед пошли. А они контратаковали. Мы отбились. Стали вывозить раненых, на мину наехали.

— Мины — самая сволочная штука, — оживился шофер, будто вдруг узнал, что его собеседник земляк. — Я ведь как здесь оказался? Четыре месяца в Казани в госпитале отвалился! Во куда меня занесло! Половины пальцев на левой ноге нет.

Только теперь Воронцов увидел на его гимнастерке желтую нашивку за тяжелое ранение.

— Где ж тебя так? — спросил он водителя.

— Тут, недалеко, под Кировом смоленским. В апреле, в прошлом году. Повез на позиции заряды для дивизионных пушек. А оттуда раненых взял. Весна-то поздняя была. В лесу лошадка. Я ее уже переезжал! Вот что интересно! И держал точно по своему следу. Я ж знаю, что такое — мины. На самом выезде — бах! Полуторку мою раскидало. Раненых... Все по березкам висят... А я как-то живой остался. Я и санитарка. Рядом сидела. Девчущка, лет восемнадцати. Она-то меня и спасла. Поблагодарить даже ее не успел. Хорошо, следом другая машина шла, из нашего автобата. Знакомый водитель. Я ему раз на дороге, под обстрелом, коробку передач помог перебрать. Погрузили в кузов, в госпиталь сразу. Вот теперь в тылу кантуюсь. Может, и тебя комиссуют. — Водитель сунул в рот папиросу, чиркнул спичкой, затянулся. — Ты на фронт-то, особо не рвись. Повоевал, хватит. Пускай другие повоюют.

Странное дело, в словах пожилого водителя полуторки была та внутренняя правда, о которой догадывался и он сам, но боялся признаться, что она в нем засела прочно, что скоро начнет управлять не только мыслями, но и поступками. Вон сколько здоровых мужиков в тылу! Пусть они теперь повоюют. А война, судя по всему, закончится еще не скоро. Немцы отступают. Но без боя не отдают ни одной позиции. И каждый раз потери. Сколько надежных, толковых и добросовестных солдат! А они были такими же хорошими отцами, сыновьями, братьями, мужьями. И всем хотелось домой.

«Хорошо просыпаться не в окопе, — в следующее мгновение подумал он, давая волю внезапным мечтам. — А где-то сейчас сидит в траншее взвод, сжимая холодными руками винтовки, ждет команды... Чего там, в траншее, можно дожидаться? Пули? Малярии? А тыл — вот он. Единственная реальность, в которую он теперь вступает. Где не стреляют, не рвутся снаряды. Куда даже не залетают самолеты. Дорога домой. По ней можно ехать на машине. Или идти пешком. Как хорошо здесь! Ни траншеи, ни окрика капитана: „Рота, приготовиться...“, ни трассеров навстречу, ни стонов и проклятий раненых, которым уже не помочь, потому что во время атаки у живых задача другая... Как хорошо ехать на попутной машине, зная, что каждая минута пути, каждый оборот колеса старенькой полуторки, громко похрустывающей на ухабах расхлябанными бортами, приближает к дому, к той долгожданной встрече с родными. О которой тайком, со слезами, не раз думал на передовой, потом в госпитале. Дорога. Какая тихая, спокойная! По ней не надо ползти, каждое

мгновение думая об опасности. Не надо бежать, пригнувшись. Не надо отыскивать позицию для пулемета и определять ориентиры для командиров отделений, чтобы те во время движения не разорвали и не смешали взводную цепь. Сиди и спокойно смотри в окно. Можно даже вздремнуть. И госпиталем от него уже не пахнет. Только каптеркой и утюгом. Видимо, Мария Антоновна распорядилась выгладить его новую форму».

Все в госпитале знали, откуда появляется в каптерке обменный фонд. Конечно, некоторым из частей привозили и присылали новые комплекты одежды и белья. И шинели, и сапоги. Но в основном создавался из одежды, оставшейся после умерших. И пополнялся каждый день. Гимнастерка и галифе, в которые сейчас был одет Воронцов, тоже принадлежали кому-то. Надевая обновку, Воронцов внимательно осмотрел и гимнастерку, и брюки. Но ни следов от пуль или осколков, ни штопки нигде не обнаружил. Впрочем, все равно пришлось бы одеваться в то, что выдали. Тем более что и Мария Антоновна, и Лидия Тимофеевна старались, подобрали лучшее, что имелось в наличии.

Мелькали за окном луга, уставленные стожками не вывезенного сена. Ветер, будто пробуя силу перед осенним ненастьем, когда он станет здесь единственным хозяином, выносил из лесу охапки листьев, пьяно швырял на дорогу, так что они рассыпались перед полуторкой разноцветным ковром. Некоторые тут же замирали, прилипнув к колесам, а некоторые продолжали лететь дальше и останавливались только на обочинах в зарослях старой травы.

Теперь Воронцову хватало времени, чтобы рассмотреть окружающий мир. Здешний край мало чем отличался от его родины. Те же ольхи и ивы в лощинах и по берегам ручьев. Лесные поляны, окруженные березовыми сростками. Просторы полей, обрамленные то оврагами, то лесом, то крышами деревни. От большака то в поле, то в лес уходили узкие проселки, изрезанные ободами телег и истоптанные конскими копытами. После дождей земля потемнела, трава прилегла, и рельеф отчетливо проступил в лугах и перелесках, словно обнажая свою вековую суть. Однажды в поле он увидел телегу, которую тянула понурая серая лошаденка. На соломенной подстилке сидели трое: старуха и двое детей лет по семи-восьми. Воронцов буквально прилип к стеклу, пытаясь разглядеть лица ехавших в телеге. Дети что-то кричали и махали руками. Старуха неподвижно, как изваяние, сидела на передке и смотрела куда-то в сторону, где чернели стога. Кого он, чужой в этом краю, хотел разглядеть? Чьи лица? Чьи глаза?

Малоярославец — маленький районный городок на реке Луже. Шоссе разрезало его на две части и уходило в хвойный лес на западе, куда клонилось яркое осеннее солнце. Ровно два года назад он, Санька Воронцов, курсант Шестой роты Подольского пехотно-пулеметного училища, проезжал по этому городу той же самой дорогой, в том же направлении. Правда, тогда стояла ночь, глухая, звездная, с хрустящей свежестью первого морозца. И немец был совсем близко. Выдвигаясь колонной к Юхнову, никто толком и не знал, где они встретятся с противником. У Мятлева? На Угре? За Юхновом? Первое боестолкновение произошло на реке Извери возле села Воронки. Там он и его товарищи впервые стреляли во врага. Там впервые пошли в атаку. Первые потери и первые трофеи. Ощущение восторга и ужаса войны, на которую попали и они.

Попутку Воронцов искал недолго. Возле лесопилки загружался подтоварником ^[5] ЗИС-5. — Не на Юхнов следуйте, мамаша? — спросил Воронцов грузноватую женщину в телогрейке и солдатских шароварах.

Та деловито копалась в моторе и на его вопрос ответила не сразу. Наконец спрыгнула с

площадки бампера, посмотрела на Воронцова так, как смотрят на незадачливого напарника, и сказала:

— Да я, папаша, если и старше тебя, то года на три-четыре, не больше. — И вдруг улыбнулась мягкой улыбкой и подмигнула: — С фронта? На побывку?

— На побывку, — он вздохнул. — Домой.

Уже не первый раз произносил он это слово: «Домой» — и всякий раз оно разливалось в душе такое тепло, такой умиротворяющий покой, что хотелось закрыть глаза и лечь на землю, полежать, послушать музыку такого простого слова: «Домой».

— А куда? — Она спросила таким тоном, что Воронцов сразу понял, что и эта не откажет подвезти, если, конечно, дорога ей тоже туда — на запад, по Варшавке.

— Уже недалеко. Село Подлесное. — И уточнил, чтобы не упустить удачу, потому что женщина, как ему показалось, потеплела, и появилась надежда, что она едет именно туда, в сторону Рославля: — Недалеко от Спас-Деменска.

— Про село твое не слыхала. А вот в Спас-Деменске бывала. Я еду до Юхнова. Так и быть, возьму. Вот загрузимся и поедем.

Снова потянулись за окном перелески, поля. То справа, то слева выныривали деревни. Ряды рыжих печных труб с облетевшей побелкой, груды головешек, изрытые окопами и воронками луговины и околицы. Придорожным деревням досталось больше всего. Воронцов вспомнил, как они шли вдоль шоссе, очищая от засевших немцев дом за домом, как толкали вперед орудия. Артиллеристы открывали огонь в ответ на первый же выстрел, крушили все подряд. Стреляли по домам и постройкам, где сидели немцы.

Некоторые деревни казались брошенными. В других копошились люди. На огородах жгли сухую картофельную ботву. Одетые в лохмотья и солдатские гимнастерки дети, сгрудившись, палочками раскапывали дымящуюся золу, видимо, отыскивали печеную картошку. Воронцов смотрел на них, и сердце сжималось от мысли, что, быть может, сейчас, точно так же, в Прудках на огороде копаются в горячей, пахнущей печеной картошкой золе Пелагеины сыновья, а где-нибудь рядом стоит Зинаида с его дочерью на руках.

— Твои-то как, живы? — Женщина поправила берет, искоса взглянула на него, напряженно смотревшего в боковое стекло.

— Мать, сестры и дед живы. А отец с братом числятся без вести пропавшими. Еще с первого лета.

— Вот и мой отец пропал без вести. Тоже в первое лето ушел. Добровольцем, в ополчение. Два письма всего прислал. Где он лежит?

Воронцову не хотелось продолжать внезапно начатый разговор. Наслушался в госпитале. Он отвернулся к боковому стеклу и смотрел на мелькающий березняк, который сиял на солнце.

— Говорят, в плену много народу. Может, и наш папка там. — И вдруг она спросила: — Как ты думаешь, их отпустят домой?

— Кого?

— Пленных. Рано или поздно их освободят. Если с голоду там не перемерут... Куда их тогда? Домой? Или куда?.. Не все ж добровольно перебежали. А, лейтенант, как ты думаешь?

Что он мог знать о том, чего не знал никто? Когда они шли вперед и, случалось, захватывали врасплох немцев, которые не успевали ни вывезти пленных, ни расстрелять их, тут же появлялись офицеры Смерша, приступали к работе. И через день-другой он видел кого-то из освобожденных на передовой, в новой гимнастерке, с винтовкой и полным

снаряжением. У каждого на войне своя судьба. Воронцову так не везло. Правда, однажды его спасла Зинаида. Она буквально из колонны обреченных на смерть, которых гнали в Рославльский лагерь военнопленных, выхватила его и увела на хутор. Как же он теперь может проехать мимо нее?

Воронцов смотрел в окно и ничего не видел. Глаза Зинаиды, зеленые, глубокие, с белесыми лучиками, стояли перед ним, как осенняя вода. Попробуй, перешагни! И если сможешь, то что останется в душе? Как тогда жить? Забыть? Прошлое — как сгоревший порох. Тепло только тогда, когда он горит. А потом — один пепел. Дунь на него, и — чистое место. Ни пылинки, ни порошинки. Пустырь.

— До Андреенок еще далеко? — спросил Воронцов, не отрываясь от бокового окна.

— Ты имеешь в виду Андреевский разъезд? Так мы только что его проехали.

— Останови! — закричал он.

— Тихо, тихо, парень. Останавливаю.

Она сбросила скорость и, прижимаясь к обочине, начала притормаживать.

— Что ж ты раньше-то не сказал? До Юхнова, до Юхнова... Вот тебе и до Юхнова...

— Воевал я в этих местах. Кое-кого повидать надо.

— Ох, и чудной ты, парень. Сказал бы... Давай уж довезу. Только ты выйди, посмотри, чтобы я в кювет не заехала.

— Спасибо тебе. Не надо поворачивать.

— Мне ничего не стоит, а тебе... — И она кивнула на его палку, которую он пристроил возле двери.

Он сунул ей банку рыбных консервов. Но она отстранила его руку:

— Я не голодаю. Пайка хватает. А там, куда ты сейчас пойдешь, этому гостинцу ой как рады будут. Так что счастливо тебе, лейтенант, повстречать живыми и здоровыми всех, кого ты решил тут навестить.

— Спасибо и тебе, сестра.

Она улыбнулась теплой мягкой улыбкой тоскующей одинокой женщины.

— Если что, запомни, я по этому маршруту мотаюсь почти каждый день. Примерно в это время. Или ты уже на Юхнов не поедешь?

— Побуду здесь денька два и поеду. Дом-то мой там. — И он махнул на запад. — Так что, если увидишь меня на дороге, подбери.

— Обязательно. Как тебя зовут-то, лейтенант?

— Александром.

— А меня Надей. — И не в силах преодолеть женского любопытства, спросила: — А здесь-то кого решил навестить?

— Дочь! — ответил он и засмеялся, радуясь собственному решению. — Дочь и невесту!

— Невесту? Может, жену?

— Нет, невесту.

— Чудно, — сказала Надя, глядя на Воронцова через распахнутую дверь. — Чудной ты парень, лейтенант. Жениться-то не собираешься?

— Как повезет! — засмеялся он. — Может, и женюсь!

— Ох, чудной!.. — И Надя захлопнула дверь и со скрежетом включила передачу.

Он перекинул через плечо вещмешок. Поправил полевую сумку. Пистолет переложил в карман шинели.

Шел быстро, почти не чувствуя не то что боли, а и самих ног. Как же он мог проехать

мимо? Как додумался до такого? Тихая радость какой-то новой, счастливой силой наполняла его, возвращала все то, что, казалось, уже навсегда потеряно, давала надежду на то, что, казалось, уже не придет никогда.

Андреенки лежали справа от дороги, станция слева. Разъезд был изрыт окопами. Землянку, видать, разобрали на дрова. Из полузасыпанной ямы торчали обломки жердей. Бруствер усыпан позеленевшими гильзами. Здесь, видимо, работал немецкий МГ. Да, подумал Воронцов, неохотно фрицы оставляют позиции. Вот и за этот разъезд, по всему видать, держались до последнего. Он поддал ногой каску с рунами СС. Лес на восток был сведен метров на сто. Дорога как на ладони. Идеальная позиция для пулемета. Немного в стороне неровный холмик с повалившимся или выдернутым березовым крестом. Воронцов сразу догадался, что это за холмик и как он появился здесь. И эта эсэсовская каска, видимо, с креста. Вот и доказательство того, что немцы держали разъезд до последнего. И даже успели похоронить своих.

Село Андреенки разлеглось тремя улицами по берегам двух сливающихся речушек. В середине деревянный мост на надежных толстых сваях, с бревенчатым настилом и продольными досками по колеям. Такие строили немцы. На мосту играли ребятишки. Старшему лет шесть. Он вскинул голову и, увидев незнакомого человека в военной форме, спросил:

— Дядя, ты чей папка?

Воронцов остановился, спросил дорогу на Прудки.

— Пойдемте, дядя, укажем! — И ребятишки, бросив игрушки — несколько гильз от ПТР и обрывок металлической пулеметной ленты, — побежали вперед.

Женщина в наглухо повязанном платке вышла на крыльцо, замерла и неподвижно стояла, провожала пристальным взглядом.

Воронцов вышел за огороды, остановился и оглянулся. Дворы уходили вниз, в пойму, оседающая все ниже в заросли сирени и шиповника. Рубиновыми слезами сияли, созревая, продолговатые плоды. Низкое пологое солнце пронзало их насквозь.

До Прудков километров семь-восемь. Два часа ходу. Придет уже затемно. Конечно, лучше бы переночевать здесь, в Андреенках, а утром уже идти в Прудки. Но не хотелось. Может быть, именно в том доме, откуда на него смотрела женщина, квартировал кто-нибудь из сотни атамана Щербакова. Или сам Щербаков. Где-то здесь и дом Кузьмы Новикова. Да, Андреенки немцы не тронули, ни одного дома не сожгли. Все цело. А ночевать негде. Попросишься в какой, а там, в семейной рамке, фотокарточка Кузьмы или другого такого же...

Воронцов еще раз окинул взглядом андреенские крыши и огороды и пошел дальше.

Пуля летела вдоль ровной глади воды сквозь клочковатый туман. Тишина, когда замирают обе стороны и молчат даже дежурные пулеметы, на войне редкость. Казалось, мертвая усталость прошедших сражений и битв свалила противоборствующие армии, и теперь они спали, видя во сне родных и близких. А пуля снова царствовала над нейтральной полосой. И теперь это была река. Широкая, больше километра. Какие могучие в России реки!

Глава пятая

Рота старшего лейтенанта Нелюбина подошла к Днепру ранним утром, когда октябрьская темень только-только сдвинулась и начала откочевывать на запад, постепенно обнажая прибрежные камыши и кромку воды на песчаной косе. Еще когда сбили в лесу последний заслон, окопавшийся у дороги с тремя пулеметами, с КП комбата по радиации вышел на связь командир полка полковник Колчин и приказал:

— Дуй, Нелюбин, с ходу на ту сторону! Приказ понятен?

— Понятен, — ответил он.

Приказ-то понятен. Но как его выполнить? Легко сказать — на ту сторону. Дуй... Как будто тут уже понтоны налажены и берег на той стороне расчищен...

Нелюбин минут пятнадцать щупал в бинокль непроницаемую пелену тумана, надеясь ухватить там хотя бы какой-то предмет, ориентир. Но ничего, кроме вязкой сумрачной мути и бугристой воды, так и не разглядел. Взводные стояли рядом, молчали. Не отрываясь от бинокля, старший лейтенант произнес:

— Будем форсировать, ребяташки. На тот берег надобно. Приказ. — И, после короткой паузы, сглотнув ком, внезапно заперший горло: — Каким бы он ни был.

Там же, в лесу, нашли сторожку, разобрали. Бревна легкие, сухие. Лет пятьдесят под крышей стояли.

— Берем, берем, ребяташки! — поторапливал Нелюбин роту. — Становитесь вчетвером по росту!

Вот с этими плавсредствами и подошла Седьмая стрелковая рота под командованием старшего лейтенанта Нелюбина Кондратия Герасимовича к Днепру ранним утром. На подходе вернулась высланная вперед разведка, доложив, что левый берег чист, а на правом постукивают пулеметы. Он приказал сложить бревна по два и сплотить их так, чтобы можно было плыть между ними. Пулеметы, противотанковые ружья, ящики с патронами и гранатами закрепили на бревнах. Так и вошли в воду и поплыли.

— Ребяташки, — отдал последний приказ Нелюбин, — плавсредства держать вдоль течения. Тогда меньше будет сносить. А начнется стрельба, будет за чем укрыться.

Конечно, форсировать такую реку, как Днепр, при помощи подручных средств дело рискованное. Да еще без поддержки. Но, с другой стороны, рассудил ротный, собрав командиров взводов, замполита и агитаторов, немцы их пока не ждут. Они сидят на правом берегу, который возвышается, если верить карте, на шестьдесят-семьдесят метров, ждут. А сверху им нас расстреливать будет ох как удобно! Берега в тумане не видать, какой он там, вправду ли такой высокий, обрывистый да неприступный. Так что, с другой стороны, если долго не рассуждать, то переплыть по-тихому даже такую реку, как эта, можно. Течение здесь не особо сильное, туман в самой поре, вытянутых рук не видать.

— Ну, с богом, ребяташки, — хлопотал возле берега Нелюбин. — Держаться командиров взводов. Не разговаривать. Раненым не стонать. Помощь окажем на том берегу. Там наше спасение. Только об этом и думайте. Кто не умеет плавать, привязаться к бревнам ремнями.

Поплыли. Тихие волны мягко шлепали по бревнам. Солдаты загребали под углом, стараясь держать на северо-запад. Чтобы не сбиться с курса, взводные посматривали на компасы. Осенняя вода пронизывала до костей. Еще на берегу, когда сплывали бревна,

Нелюбин приказал старшине раздать по сто граммов спирта. Кто развел с водой, получилось как раз по полкружки. А кто и рванул так, единым духом.

Кто-то из бывших штрафников пошутил мрачно:

— Днепром запьем, братцы.

— Пошел ты к черту! — ответили ему сразу несколько голосов.

Немцы изредка постреливали из пулеметов, но стрельба велась в основном выше по реке. Там стоял небольшой городок. По берегу, по самой круче, рассыпались окрестные села. Как видно, в них-то немцы сидели гуще, гарнизонами. Напротив города — мост. Немцы его не взорвали. Потому что еще переправлялись на ту сторону их отступающие запоздавшие части. Вот и стерегли его. Нервничали в тумане. Тут они пока никого не ждали. На что и сделал расчет старший лейтенант, выполняя приказ.

Из тумана проступила черная громада пологого холма. Чем ближе подбирался головной плот, на котором греб ротный со своим ординарцем и пулеметным расчетом ДШК, тем отчетливее виднелись серые облака ивовых кустов и утесы отдельно стоящих деревьев. Неужто берег? И Нелюбин увидел, как вытянул голову первый номер ДШК старший сержант Веденеев.

В июле, после боя под Хотынцом, их штрафную роту всем составом перевели в штат обычной стрелковой роты и вернули в полк Колчина. Кондратий Герасимович, собрав после боя остатки штрафников и отведя их во второй эшелон, двое суток писал реляции. Никто его не трогал, никто не требовал ни докладов, ни отчетов. Об отдельной штрафной роте будто забыли. Шло наступление. На западе, на севере и на юге гремело так, что шевелилась соломенная крыша на приземистом домике, в котором разместился штаб роты, связисты и старшина. Начал Кондратий Герасимович составлять список безвозвратных потерь, и так его разобрало, что поплыли перед глазами лица бойцов, вчерашних его товарищей, взводных. Начал опрашивать живых, как и при каких обстоятельствах они видели в последний раз того-то и того-то. Написал на двенадцать погибших, в том числе и на взводных лейтенантов, и на всех уцелевших представления на медаль «За отвагу». Рассудил так: конечно, все они, особенно лейтенанты, пулеметчики и бронебойщики, достойны орденов, но не дадут, а вот на медали, может, и проскочат документы до штаба дивизии. И точно, дошли. Медалей, конечно, никому не дали. Но через неделю, когда тридцать два человека, оставшихся от ОШР, привели себя в порядок, зашили изодранные гимнастерки и шаровары, пришел приказ, которого никто и не ожидал: за проявленные мужество, героизм и воинское умение во время прорыва передовой линии вражеской обороны отдельную штрафную роту перевести в штат обычной стрелковой и включить в состав такого-то полка... Какие там медали? Пускай их штабные носят. Роту реабилитировали! Всю, до последнего подносчика патронов. Вот это награда так награда!

И вот он, старший лейтенант Нелюбин, плыл со своей ротой на правый берег. Замполит, лейтенант Первушин, с третьим взводом переправлялся правее. Левее — командир первого взвода лейтенант Кузеванов.

Нет, конечно, это не берег. До берега еще метров сто. Остров! Просто небольшой речной остров. Говорят, на Днепре их много. И вдруг Нелюбина пронзила мысль о том, что на острове, возможно, засело немецкое охранение. Откроют огонь, порежут роту из пулемета, и закончится их операция за сто метров до правого берега. Он передал приказ огибать остров левее, ниже по течению. Плоты начало медленно стаскивать вниз. Но на душе у Нелюбина спокойнее не стало.

— Андрей, — прошептал он Кузеванову, — а ты давай к острову с другой стороны. Загребай повыше. Высадись, обследуй. Если у них там охранение, постарайся придавить без шума. И оставь один пулемет на западной стороне, чтобы на всякий случай поддержать нас во время высадки.

Лейтенант на передовую прибыл месяц назад с маршевой ротой. Некоторое время ее придерживали в резерве, а потом раздергали в разные батальоны. Кузеванов со своим взводом попал в Третий батальон и сразу же был направлен в Седьмую роту, которая формировалась из остатков бывшей штрафной.

Плот неслышно ткнулся носом в заиленную косу. Видимо, река поднималась во время августовских дождей, и, уходя с отмелей, оставила барханчики топкого ила. Кузеванов быстро отвязал от ствола пулемета сапоги, сунул за пазуху портянки, обулся на голую ногу, махнул пистолетом в сторону низкого кустарника, пригнутого полыми водами и росшего теперь вкось, по течению. Там, приткнувшись носом к коряге, покрытой сухими водорослями, стояла надувная резиновая лодка. Двоих, с автоматами, лейтенант послал в обход прикрывать роту огнем, — если немецкое охранение не удастся взять без шума. Остальных повел прямо по тропе, которая вела в глубь острова. Судя по следам, оставленным на илистой тропе, немцев было четверо. Пройдя шагов двадцать, они их и обнаружили.

Охранение составлял пулеметный расчет. МГ-42 стоял на треноге. Ствол повернут на юго-восток, как раз туда, где в это время проплывала Седьмая. Вот она вся — как на ладони. Торчат из воды стриженные головы и мокрые плечи, обтянутые гимнастерками и вздутыми плащ-палатками — пали длинными очередями, и роты за пять минут не станет. Лента с золотистыми патронами, покрытыми мелкой дымчатой росой от оседающего тумана, заправлена в приемник. Пулеметчики спали рядом, накрывшись плащ-палатками. Правее лежали еще двое, обхватив руками карабины.

Кузеванов медленно засунул за ремень ТТ, вытащил нож. То же самое сделали и остальные его бойцы. Он наклонился над пулеметчиком, лежавшим справа, одной рукой плотно зажал рот, другой мгновенно дважды ударил в грудь и еще раз под ключицу сверху вниз. Бил с силой, с какой-то развинченной злостью, которую надо было истратить сразу всю.

Через мгновение все было кончено.

— Вот и все. Выражаю всем благодарность. — Лейтенант Кузеванов посмотрел на бойцов, их бледные лица с горящими глазами и почувствовал, что его тошнит и вот-вот может вывернуть. На убитых он старался не смотреть. — У кого близко фляжка?

Он проглотил пресный ком тошноты вместе с холодным, как днепровская вода, спиртом. Прошептал, сплевывая горькую слюну:

— Пять минут отдыха.

— Наше счастье, лейтенант, фрицы, видать, тоже несколько ночей не спали, — вытирая подолом мокрой гимнастерки трофейный нож гитлерюгенда, шепнул бронебойщик Овсянников.

— Да, раньше нас спешили берег занять. — И пулеметчик Москвин кивнул на сапоги немцев, видать, дня три назад вычищенные до блеска. На раструбах широких голениш виднелись остатки гуталина. Снизу же были заляпаны грязью и раскисли от долгой ходьбы по мокрой траве и болотине.

— А видать, недавно сюда перебрались, — хехекнул пулеметчик. — Вот и улеглись на

часок-другой. Дурни.

— На наше счастье. А если бы не спали...

Один из группы, бывший штрафник, не раз ходивший за «языком», покусывая травинку, сказал:

— Нервно ты воюешь, командир. Бьешь, как телка обухом. Это ж человек. Тут надо аккуратно. Сонному и ребра можно пощупать. Сунул под третье ребро — и не охнет...

Кузеванов посмотрел на разведчика и отвернулся. Не хотелось обсуждать тему, от которой все еще мутило. Видимо, разведчик заметил его состояние и, на свой манер, развлекался, чтобы тоже немного собрать в кулак нервы.

В это время туман перед раструбом немецкого пулемета на мгновение разошелся, и они снова отчетливо увидели в узком разрыве полоску дымящейся воды, проплывающие торцы спаренных бревен, мокрые плечи и каски бойцов, оружие и ящики на мостках.

— Москвин, Фаткуллин, вы остаетесь здесь, на острове. Задача: поддержать нас огнем, если немцы обнаружат переправу. Бейте по пулеметам. Мы вам оставляем лодку. Перетащите сюда. Когда начнется стрельба, будет не до нее.

— А что потом? Ну, когда вы там высадитесь? Что нам делать?

— Оставайтесь здесь. Ротный приказал. А там видно будет. Трофей оставляем тоже вам. Перенесите его туда, на ту сторону. Патронов достаточно. Вон сколько понатащили. Харчи, я думаю, у вас тут тоже найдутся. — И лейтенант Кузеванов кивнул на немцев. — Прикопайте их где-нибудь. Днем станет жарко, запахнут.

Нелюбин загребал одной рукой, другой держась за скобу, прочно сидевшую в бревне. Хороший ему достался плот, удобное бревно. И скобу вбили удачно — на внутренней стороне, так что за нее можно было держаться и грести бесшумно, при этом особенно не высываясь наружу. Сапоги он, как и большинство бойцов, кому уже приходилось форсировать большие реки, снял. Прикрученные проволокой к гранатному ящику, они маячили перед глазами, всякий раз напоминая Кондратию Герасимовичу, что они рядом, он только временно разут, а там, поближе к берегу, можно будет и обуться. Время от времени он вытягивал голову и, сдвинув набок каску, прислушивался. Но слышал только тихие всхлипы воды, бьющейся о бока бревен, да гул собственной крови в висках. Что там, на острове, он не знал. Но тишина, которая напряженной кровью отдавалась в висках, его обнадеживала. Может, никого там не оказалось, на том острове. Хотя он, Нелюбин, обороняясь его рота, обязательно бы выслал вперед охранение с пулеметом. Полковник Колчин сказал, что, возможно, они заняли еще не весь берег. Может, и так. Но посты с пулеметами и патрули наверняка уже расставлены везде. А что нужно, чтобы перебить их, плывущих сейчас к неведомому берегу без всякого прикрытия и мало-мальской защиты? Да один пулемет и нужен. Один пулемет, да при хороших пулеметчиках... Ох ты ж, ектыть! Нелюбин едва не выругался вслух. В какое-то мгновение он стал замечать, что туман над головой, над продвигающимися вперед плотами, над покрытыми матовой росой касками его Седьмой стрелковой роты стал светлеть. Это могло означать только одно: там, позади, с родного берега вставало солнце, а значит, спасительный туман, надежней любой маскировки скрывавший их продвижение к вражескому берегу, вот-вот начнет рассеиваться. Солнце — первый враг тумана. И правда, спустя несколько минут впереди стало развиднеть, и оттуда высоченной горбатой громадой неожиданно выступил берег. Он услышал, как зашептались солдаты, тоже пораженные видением, вздымавшейся над простором реки гигантской, почти отвесной стеной.

— Господи, Господи... — услышал он шепот старшего сержанта Численко, плившего за соседним плотиком. — ...Даруемая нам тобою... и в прославление крепкого твоего заступления, да подаст он стране нашей, боголюбивому воинству ея и всем православным христианам на супостаты одоление, и да укрепит державу нашу...

Молись, молись, Иван, думал Нелюбин, лихорадочно оглядывая все выше и выше вздымающийся берег, только громко не шепчи, а то услышат, окаянные.

И тут, словно и вправду Святой Георгий, которому обращал торопливую молитву помкомвзвода Иван Численко, укрыл их небесным плащом, чтобы скрыть от глаз неприятеля. Надвинулась новая волна тумана, да такого густого, что плившие по Днепру солдаты почувствовали его кожей лица. Однако минуту спустя, вначале выше по течению Днепра, а потом и по всему берегу, застучали пулеметы. Проснулись, окаянные. Нелюбин окинул взглядом торчавшие из воды головы и мокрые бревна плотов. Ну, теперь подавай Бог сил поскорее добраться до берега.

До песчаной косы оставалось каких-то двадцать-тридцать метров, когда над головой пронеслась трасса разноцветных пуль и веером ушла правее, рассыпаясь, как брызги на солнце. Как и рассчитал Нелюбин, немцы опасались вести огонь в сторону острова. Значит, охранение там все же выставлено. Но остров молчал. Часть плотов первого взвода снесло левее. И именно они первыми попали под огонь дежурных пулеметов. Немцы стреляли вслепую. Закричали первые раненые, зашлепала вода. И тотчас сверху ударили три или четыре пулемета. А вслед за ними разорвалась серия мин. С острова ударил МГ. Ну, теперь конец, подумал Нелюбин, но, заметив, что трассы с острова уходят вверх, в сторону немецких пулеметов, мгновенно сообразил, что это начал действовать Кузеванов. Только где они раздобыли скорострельный трофей? И, уже не таясь и чувствуя пальцами ног гальку твердого дна, Нелюбин закричал:

— Ребятюшки! На берег! Разом! Налегли-и-и! — Он сразу забыл все уставные команды и, понимая, что бойцам, копошащимся в тумане среди высоких фонтанов, поднимаемых взрывами, и пулеметных трасс, достаточно ободряющего крика, что берег рядом, в нескольких шагах. Он перекинул через голову сапоги — где там, ектыть, их обувать, некогда, — взвалил на плечо ящик с гранатами; в свободной руке держа ППШ, поливал берег огнем и жестоко матерился. — Вперед, ребята! Наша берет!

— Быстрей! Быстрей! В мертвую зону! — кричал кто-то из взводных.

Да нет, не самым проворным оказался Кондратий Герасимович, правее его уже устраивался прямо на песчаной косе старший сержант Веденеев со своим ДШК. И через минуту две коротких, пристрелочных, и длинная, верная очередь крупнокалиберного пулемета резанули гребень горы как раз в том месте, где трепетало пламя на дульном срезе скорострельного МГ. Немец замолчал.

— Молодец, Веденеев! Уходи под обрыв! Всем — под обрыв!

Бойцы выскакивали из воды, хватали ящики, оружие и раненых и бежали к круче. Только несколько плотиков, потерявших гребцов, медленно сносило течением. Вокруг продолжали подпрыгивать высокие фонтанчики. Похоже, прозевав высадку, немцы вымещали злобу на беспомощных целях, добивая раненых и рубя тела убитых, лежавших поперек бревен.

Основные силы роты собрались под обрывом. Третий взвод, с которым шел замполит Первушин, высадился правее и успел укрыться в овраге, заросшем лозами и кустарником. Это спасло не только группу Первушина, но и всю роту. Овраг оказался в их руках. Не бог

весть какая позиция. Но все же — позиция. Есть где укрыться. Есть где сосредоточиться и организовать оборону.

Выше стрельба достигла такой интенсивности, что, казалось, там форсировал реку полк, и теперь немцы всеми силами, с привлечением артиллерии и минометов, пытаются сбросить его обратно в реку. Быть может, именно это обстоятельство и отвлекло в какой-то момент немцев от горстки бойцов старшего лейтенанта Нелюбина, которая под прикрытием тумана и пулемета, длинными прицельными очередями бившего с острова, успела выскочить из воды, покинув плотики, и укрыться в мертвом пространстве.

— Уходим в овраг! Передать по цепи — в овраг! — скомандовал Нелюбин.

— Живее, ребята! Живее! Сейчас опомнятся, закидают гранатами!

— Занимай овраг! Глубже продвигаться!

И тотчас несколько длинных «толкушек» шлепнулись на песчаной косе. Раздались взрывы. Прижавшихся к обрыву обдало камешками и мокрым песком. Вскрикнули раненые.

Вскоре рота сосредоточилась в овраге. Немцы постреляли еще немного, бросили несколько десятков мин, которые разорвались чуть дальше косы, в устье оврага, в болотине, и замолчали.

А правее, и уже вроде как вверху, шел бой.

Удивительным оказалось то, что ни берег, ни овраг не были заминированы. Немцы просто не успели это сделать. Так что прав оказался комполка, выдвинув Седьмую вперед и приказав ей с ходу форсировать реку.

День прошел относительно спокойно.

К вечеру прекратился бой и возле города. То ли сбили наших назад, в Днепр, то ли они все же закрепились, и немцы взяли паузу, чтобы перегруппироваться. Понять пока ничего толком было нельзя.

Больше книг на сайте — Knigolub.net

Тем временем Седьмая рота окапывалась по склонам оврага. Нелюбин сам расставлял пулеметы. Снова пригодились трофейные минометы. Для них Кондратий Герасимович приказал копать отдельный окоп, внизу, в самом укромном месте. Там, возле ручья, и установили все три «трубы». Жаль только, что мин к ним оказалось маловато. Оба плотика, на которых переправляли ящики, перевернуло. Оставалась надежда, что затонули они на отмели, и их можно еще поднять.

— Вы утопили, вы, ектыть, и вытаскивайте, — сказал Нелюбин минометчикам. — Как хотите, а чтоб мины к утру были на позиции. Хотите к немцам ползите, а хотите в речку лезьте...

До ночи они заминировали все подходы к оврагу. На тропинках, возле деревни, установили растяжки. Ночью Нелюбин отправил три группы разведчиков — во все три стороны. Минометчики отправились на берег. А сам Кондратий Герасимович приказал радисту связаться со штабом полка и доложил обстановку.

— Почему долго не докладывал? — спросил полковник Колчин, и в голосе его чувствовались и раздражение, и удовлетворение действиями Седьмой роты, и беспокойство о дальнейшей их судьбе.

— Соблюдал радиомолчание. Проявлял военную хитрость, — ответил Нелюбин.

— Ладно, хитрец, держись. Как себя ведет противник?

— Пока тихо. В километре или двух выше по течению почти весь день шел бой. Выясняю, что там и кто там. Вернется разведка, доложу. Думаю, им пока не до нас. Но

дольше ночи они нас тут терпеть не будут.

— Держись, держись, Нелюбин. Удержишь плацдарм, звездочка тебе обеспечена.

Несколько дней назад, еще на марше, в ротах зачитали приказ: кто первым ступит на правый берег Днепра, закрепится, удержит плацдарм и обеспечит переправу вторых эшелонов, получит высшие награды, вплоть до звания Героя Советского Союза. Когда рота пошла вперед и появился шанс действительно первыми в дивизии перебраться на тот берег, у Нелюбина нет-нет да и вспыхивал внутри честолюбивый огонек утереть всем нос и прицепить к гимнастерке какой-нибудь солидный орден. Но теперь, оказавшись в овраге, окруженном с трех сторон противником, силы которого пока были неизвестны, а с тыла рекой, ротный об орденах уже не вспоминал. Думал о другом.

Если ночью его усилят хотя бы батальоном, да с оружейной поддержкой. Если помогут штурмовики и тяжелая артиллерия. Если подбросят боеприпасов и эвакуируют раненых. Тогда они, пожалуй, смогут расширить плацдарм и удержать его до прихода дивизии. Но для этого нужно, чтобы сюда прибыли офицеры связи и корректировщики из артиллерийских и авиационных частей. А то ведь лупанут и «горбатые», и «боги войны» по своим, как это не раз случалось.

Первыми вернулись минометчики. Шли, часто перебирая босыми ногами и оскальзываясь на сырой стежке, как дети после рыбалки, в пути застигнутые дождем. Нагруженные ящиками, они радостно дышали в темноте, посмеиваясь над тщедушным подносчиком Степиным.

— Ну, самоварщики, что там у вас?

— Да вон, Степин чуть не утоп.

— Косануть решил. Как налим под камень. Воевать не хочет.

Минометчики отыскивали боеприпасы на глубине около трех метров. Нырjali, хватали ящики и волокли их под водой к берегу. Степин ухватил свой ящик и долго не выныривал. Астахов и Тарченко бросились за ним. Но тут с берега ударил пулемет, хлестнула на голос потревоженной воды дежурная очередь, плеснула в черное непроницаемое небо электрическим светом ракета, потом другая. И, пока они не отгорели над кромкой правого берега, минометчики не выныривали. Степина, чтобы не вынырнул под пули, притопили, а потом вытащили за ноги. Лежал потом под обрывом, блевал тинной и илом, пока его товарищи перетаскивали ящики. Там же отыскивали и противотанковое ружье погибшего расчета.

— Молодцы, — сказал Нелюбин. — Объявляю вам благодарность. Награды выдаю немедленно: ступайте к старшине, он вам нальет по сто граммов. Для сугреву и в порядке поощрения.

Минометчики сразу повеселели. Вскоре вернулся Сороковетов.

— Ну что, раскулачили старшину? — поинтересовался Нелюбин.

— Раскулачили. — Сороковетов стоял уже обутый, в шинели, накинутой на голое тело. Его время от времени трясло. — А что, Кондрат, разведка так и не вернулась? — спросил он, слушая ночь.

Старики, оставшиеся со штрафной, называли Нелюбина кто по имени и отчеству, а кто просто по имени. Ему и самому такое отношение бойцов, с кем прошел огонь и воду, было по душе. Службу они знали, и, когда надо, обращались по уставу.

— Нет пока. Жду.

— Стрельба в деревне была. Небось наши напоролись.

— Не дай бог.

— Там по реке трупы плывут. Кто на бревне, кто на плоту... Видать, вверху тоже форсируют.

— Разведка и туда ушла. Вернутся, расскажут.

— А может, если они там закрепились, нам с ними соединиться? А, Кондрат?

— Посмотрим. Но приказа такого не поступало. Полк-то здесь переправляться будет. А там и вся дивизия. Так что пока нельзя нам уходить. Да и позиция тут хоть и паршивая, но все же какая-никакая, а есть.

Разговаривали они шепотом, приткнувшись касками друг к другу. Чуть погода сон начал одолевать обоих. Но Нелюбин спохватился первым и толкнул минометчика в грудь:

— Сидор! Ты что, ектыть, спишь на посту?

— Я? Нет, не сплю. Согрелся малость, после наградных, — виновато вздохнул Сороковетов. — А замполит же наш где? Отдыхает?

— Где там. В разведку напросился. Туда, к городу пошел, где бой был.

— Боевой у нас замполит. Не то, что Кац.

Нелюбин ничего не ответил. Пустой разговор, и поддерживать его не хотелось. Но минометчик, видать, вспомнил бывшего замполита роты неспроста. Зевнул протяжно и спросил:

— Где ж теперь наш героический еврей?

— В штрафбат направили.

— Так ему и надо. Пусть с винтовкой повоюет. Да в атаку сходит. В первой цепи. Слышь, Кондрат, ребята интересовались: а что, в штрафных батальонах одни офицеры?

— Ну да.

— И что, рядовыми в атаку ходят?

— А ты что, приказ двести двадцать семь не читал?

— Нет, не читал, — не дрогнув ни одним мускулом, ни нервом ответил Сороковетов. — Мне его гражданин прокурор зачитал. Раза три. Пока писарь приговор «тройки» строчил. А в руки ту бумажку так и не дали. Не доверили. А может, сомневались? Думали — неграмотный. Да нет, я расписывался. И что, — снова начал допытываться минометчик, — говорят, даже полковники в бой с винтовками ходят?

— Ходят и полковники.

— Ой-ей-ей! Это ж сколько офицеров надо, чтобы в батальон свести!

— Видать, хватает. Вот не выполнит рота приказ, не удержим мы плацдарм, и мне винтовку дадут. Да новую должность.

— Какую?

— Генеральскую! — усмехнулся Нелюбин. — При винтовке и окопе в полный профиль.

Минометчик ничего не ответил. Он знал, что на войне всякое бывает, что не поддается здравому смыслу, а потому возражать Нелюбину не стал. Сказал только:

— Удержимся, Кондрат. Мины мы из реки все перетаскали. Сунутся, врежем им как следует.

— Нам тут, Сидор, брат ты мой, деваться некуда, кроме как зубами держаться за этот овраг.

— А я бы, Кондрат, будь я маршалом, или кто там в генеральном штабе приказы пишет, штрафные батальоны по-другому устроил.

— Это ж как, товарищ маршал? Разъясни.

— А вот слушай. Всех политиков, интендантских и всякую тыловую шуштуру в один батальон, а строевых офицеров, которых из окопов нахватали, отдельно. А то ж опять что получится: вперед окопники ползут, а эти обеспечивать их будут.

Вверху, за гребнем оврага, застучал немецкий пулемет.

— Решили, видать, до утра нас не трогать. На рассвете ползут. Ты скажи своим расчетам, чтобы спали по очереди. И вот еще что: когда до дела дойдет, минами особо не швыряйтесь. Неизвестно еще, сколько нам тут, одним-то, сидеть придется. Припас побереги.

— Неужто батя подкрепление не пришлет?

— Подкрепление... Дивизия переправляться должна. А когда, неизвестно. Видать, еще не подтянулись. Пока плоты свяжут, пока то да се...

— Кондрат, а я все лейтенанта нашего вспоминаю. Воронцова. Лихой парень был! Штык! Жалко его. Живой он или помер?

— Живой наш Санька. Письмо я от него получил. С последней почтой пришло.

— А что ж ты не похвалился?

— Некогда было.

— И что он пишет?

— Пишет, что в Серпухове на излечении находится. Ноги-руки целы. Внутренности тоже не потревожены. Но на фронт пока не выписывают. Отпуск сулят. Домой поедет.

— Ну, молодец наш лейтенант! Выкарабкался! Может, еще встретимся. Если живы будем. В тылу сейчас. Девок щупает. Вот житуха! А, Кондрат?

— У него невеста есть, — возразил Нелюбин. Не по душе ему пришлась грубая вольность Сороковцова.

— Невеста — не жена.

— У Сашки такая невеста, что не хуже жены.

— Невеста, жена... А тыл есть тыл. Когда вокруг тебя девки в белых халатах вьются, как тут удержишься?

— Уж и болобон же ты, Сидор. Лучше ступай да делом займись.

— И с отпуском ему подфартило. А что, я считаю, отпуск лейтенант вполне заслужил. По мне, будь я маршалом...

— Ступай, говорю!

В стороне деревни часто затараторили автоматы. Торопливые, залиvistые ППШ. И менее расторопные, но звонкие МР-40. Немецких становилось все больше и больше. В какое-то мгновение они стали одолевать, брать верх. Но лопнули три или четыре гранаты, и стрельба стала затихать.

— Разведка возвращается, — перевел дыхание Нелюбин. — Хоть бы все целы пришли. Ладно, Сидор, иди к своим. И помни: на твоих «самоварщиков» у меня надежда особая. И — не спать. Не спать, Сидор. После войны выспимся.

Минометчик невесело засмеялся.

— Эх, будь я маршалом...

Глава шестая

Воронцов шел полем, опираясь на палку. Дорога не совсем просохла после недавнего дождя, но все же не была разбита, как те, многие, которые он привык в последнее время видеть на фронте. Война ушла, дороги опустели, обезлюдели, и колеи, глубоко прорезанные тягачами, танками и колесами тяжелых гаубиц, стали заплывать, крепнуть и даже зарастать гусиной травой и ромашкой. О том, что здесь происходило совсем недавно, напоминали теперь лишь россыпи пустых винтовочных гильз, вдавленных в податливую землю обочины, да брошенные раздавленные противогазные коробки, каски и другое железо войны, непригодное в крестьянском хозяйстве. Потому что все остальное было уже собрано жителями окрестных деревень. Народ за время оккупации обнищал, обносился. Некоторые остались без крова и угла. Жили кто в землянках, кто в чудом уцелевших хлевах и баньках и радовались любому приобретению. Пополняли хозяйство всем, чем могли. Правда, у солдатских дорог и в развороченных снарядами траншеях не особо чем можно было разжиться. Ни плугов, ни кос, ни сеялок война крестьянину не оставляла в изуродованных полях и лугах.

В лесу совсем не ощущалось прихода осени. Пахло грибами, теплой, душистой прелью затянувшегося лета.

Воронцов прошел еще метров сто и в редком березняке, уже наполовину раздетом, осыпавшемся листвой на траву, на дорогу и на заросли черничника, остановился. Как хорошо было здесь! Впереди чернел густой непроницаемой стеной ельник. Там перелетали через дорогу и полянку крикливые сойки, поблескивая бело-сизым пером на крыльях. Ветер замер. Свежо, как в апреле, пахло молодой берестой. Запах смешивался с другим, тоже сильным, горьковатым — пахла листва. Воронцов ворохнул ее сапогом. Нижний слой оказался уже совсем черным. Природа свой извечный круг свершает молчаливо. Вот и они, там, на передовой, привыкли видеть смерть как обыденное проявление войны. Гибель бойца, стоявшего в соседней ячейке, с которым несколько минут назад разговаривал, смотрел в глаза, делился сухарем, воспринимается как один из законов войны. И они ложатся в землю, как березовые листья. Слоями. Тех, кто погиб вчера, еще вспоминают словом или вздохом вроде: «Пулеметчики, в гроб их душу, окоп как уродливо отрыли. Антипов бы этого не допустил...» «Вот у Семенова „катуша“ была, так он с первого раза прикуривал! А ты тюкаешь, тюкаешь...» Потом стираются и имена, и лица. Под слоем других, новых имен и лиц. Потому что окликаешь живого солдата или товарища. А мертвого... Что его окликать? Его теперь пускай мать окликает. Или жена. Или дети. А воюющей роте нужны живые солдаты и лейтенанты. Иначе как быть тем, кто еще жив?

Он еще раз окинул взглядом отсвечивающие желтизной вечернего солнца березовые листья, среди которых попадались там и тут багровые и ало-розовые крапины бересклета и крушины, потрогал переложенный в карман «вальтер», поправил его, развернул рукояткой вверх и зашагал в сторону ельника.

День уже истаивал в небе, и в лесу стояли сумерки. А среди рядов еловых посадок и вовсе загустело, и очертания пней и кустов можжевельника невольно, как в детстве, беспокоили воображение.

Лесные дороги Воронцов любил за то, что они не только примиряли с неизбежностью дальнего пути, но и словно бы разделяли с путником эту необходимость. Нет, лесная дорога,

даже если она и длинна, не так утомительна и тосклива, как, к примеру, полевая. Та, как говорил дед Евсей, сперва глаза выест, а уж потом за ноги примется.

Воронцов миновал посадки, перебрался по ольховым кладкам через ручей, который выбегал из лесу, петлял в зарослях черемушника, журчал в прохладной тени, среди камней, обросших тиной, и затихал на переезде. Здесь он образовывал продолговатое озерцо, со дна подсвеченное промытым песком. Точно такие же светлые речушки и ручьи с переездами и песчаными бродами были и на его родине. Всегда можно было отыскать родник и напиться.

На окраине светлого озерца, на влажном плотном песке отчетливо отпечатались протекторы грузовика, рядом виднелись несколько извилистых лент тележных колес, неровные лунки конских копыт. Воронцов взглянул на следы и сделал вывод, что, должно быть, их оставила одна и та же телега и один и тот же конь. Левая подкова была стесана немного набок. Конь подкован только на передние ноги. А правое тележное колесо делает характерную вилюгу — видимо, разболталась втулка, а хозяину либо недосуг ее подклинить, как, в случае подобной неисправности, всегда делал дед Евсей, либо он по нерачительности просто плюнул на него. Крутись, родимое, пока не развалишься.

Впереди, шагах в ста, за поворотом и лощиной, заросшей густым ивняком, послышались настороженное похрапывание лошади и редкие голоса. Слов не разобрать, но слышно отчетливо. Один спрашивал, другой отвечал. Теперь Воронцов вспомнил, что последний след вел именно туда, в сторону Прудков. И вот теперь он либо догнал повозку, либо она уже возвращалась. Он машинально потрогал в кармане рукоятку «вальтера» и прибавил шагу. Но, когда подошел к лощине, серая в яблоках лошадь уже выходила из-за поворота навстречу. Она тащила широкую немецкую телегу, выкрашенную в темно-зеленый цвет. Из-за крупа лошади виднелась кепка возницы и клинышек поднятого кнута.

Воронцову пришлось посторониться. Он отступил на обочину. Лошадь, кося глаза, прошла мимо, обдавая Воронцова теплым запахом большого тела. Возница же, как ни странно, выказал гораздо меньшее любопытство, как будто они с Воронцовым сегодня уже встречались. Лет шестидесяти, грузный, с седой бородой, он скользнул настороженным взглядом по лицу и погонам Воронцова и тут же отвернулся. Воронцов хотел поздороваться, но передумал. И, когда повозка скрылась за поворотом, он с недоумением подумал: а видел ли он меня, этот седобородый? Смотреть-то смотрел, особенно на погоны и португую, как будто хотел убедиться, не висит ли на правом боку кобура, а из-за спины высовывается мухор вещмешка, а не приклад автомата. Что ж, война научила людей, даже невоенных, реагировать только на опасность. Одинокий путник, без оружия, опасности не представлял. И все же Воронцова не покидало ощущение странности произошедшего. Но слишком неожиданной оказалась встреча, и она застала его врасплох.

Воронцов еще раз посмотрел назад, где уже никого не было, и даже скрип тележных колес растаял среди деревьев и кустарников, которые глушили все звуки.

Конечно, жаль, что повозка направлялась в противоположную сторону, но, правь возница на Прудки, вряд ли он оказался бы приветливее. Видимо, такой человек. И Воронцов сунул руку в карман — пальцы привычно легли на холодную рукоятку, и зашагал дальше.

Сумерки уже легли на поляны. Какие-то мелкие пичужки, припозднившись, перелетали через дорогу. Воронцов следил за посверкиванием их упругих округлых крыльев. И тут в конце просеки, отмеченной едва примятой тропой, увидел человека. Вначале боковым зрением, а потом, будто пронзенный током, повернулся и глянул в упор. Рука уже лежала на

рукоютке, палец торопливо ощупывал предохранитель.

Человек сидел на пне. В осанке, посадке головы, Воронцов мгновенно уловил нечто знакомое. Напряжение сменилось любопытством, а потом и радостью.

— Иванок! Черт бы тебя побрал!

— Что? Напугал? — хрипло пробасил Иванок и встал навстречу. — Здравствуй, Курсант. Я знал, что ты появишься. Там тебя давно ждуг. — И он кивнул в сторону Прудков.

Они обнялись. Встреча однополчан — всегда радость. Иванок заметно подрос, вытянулся. Ткнулся носом в плечо Воронцова и сказал:

— А ты все еще лейтенант?

— Как видишь.

— В отпуск? Или списали подчистую?

— Пока в отпуск. А там... В ноябре — медкомиссия, переосвидетельствование. А ты?

— У меня контузия была. Направили домой. Сказали, больше не возьмут. Только через год. И то, если комиссия пропустит.

Разговор быстро иссяк. Потому что оба, отвечая на вопросы, думали о другом.

— А ты что в лесу делаешь? На ночь-то глядя? — Воронцов посмотрел по сторонам. Рядом с пнем, на котором сидел Иванок, в траве лежал кавалерийский карабин с потертым прикладом и самодельным ремнем. Он скользнул рассеянным взглядом дальше, делая вид, что не заметил брошенного Иванком оружия. Что и говорить, странно его встречали Прудки. До деревни еще с километр-полтора, а уже столько событий, о каждом из которых можно думать что угодно.

— Ты мне скажи, как там мои?

Это внезапно вырвавшееся слово прозвучало настолько естественно, что Иванок так же спокойно, даже не взглянув на Воронцова, ответил:

— Все живы и здоровы. Зинка еще красивше стала. Ребята подросли. А Улька уже по улице бегают.

— Иван Стрельцов так и не вернулся?

— Нет. Ни он, ни папка мой. Ни Шура. — Иванок опустил голову, отвернулся.

Помолчали.

— Наши наступают?

— Наступают. А вы что, газеты не читаете?

— Читаем. Но ты, может, новости какие знаешь? В газетах же не все пишут.

— Наши сейчас на Днестре. Под Киевом. Под Чаусами. На Десне. По всему фронту наступают.

— Чаусы — это где?

— Возле Могилева. Наша дивизия как раз там.

— Вот видишь, вперед пошли. А мы — тут...

Воронцов похлопал Иванка по плечу и сказал, как бы между прочим:

— Ладно, бери свою драгунку и пошли домой.

И, когда тот поднял карабин, спросил:

— Лося, что ль, караулил?

— Лося, — ответил Иванок И его усмешка стала еще одной загадкой, над которой тоже стоило задуматься.

Пока шли до Прудков, Воронцов успел о многом расспросить товарища. Но что касалось лося, то эту тему пока не трогали.

— Ну что, пойдешь сразу к ним? Или к нам зайдешь? — Иванок отпустил ремень карабина и повесил его на плечо прикладом вниз. Так он был почти незаметен.

— Сразу пойду.

— Понятно. Они там, в новом доме живут. Возле пруда. Удачи тебе. Завтра зайду. Если не против. — Иванок разговаривал с Воронцовым как равный. И движения его, и жесты были несуетливы и по-мужицки расчетливы.

— Заходи.

— Степаниде Михайловне привет передавай.

— Передам.

Воронцов, с одной стороны, был рад Иванку, с другой — его не отпускало какое-то подспудное беспокойство. Какого же зверя стерег он в лесу, да еще у дороги, в такой час?

От школы Воронцов свернул в проулок. В конце белела свежая щеповая крыша. Поставил-таки Петр Федорович новый дом. Осилит. Интересно, а полы? Или до сих пор живут с земляными? Крыша свежая, еще не потемнела.

Он шагнул через дорогу, к крыльцу. Издали увидел, что в сенцах горела керосиновая лампа. Желтый маслянистый свет ее освещал бревенчатую стену, полку с какой-то посудой, женскую фигуру, наклонившуюся над столом с ведром в руках. Воронцов подошел ближе и разглядел ее. Так и есть — Зинаида. В руках у нее была доенка, сверху накрытая марлей. Зинаида разливала по глиняным кринкам и горлачам молоко. И Воронцову, наблюдавшему за наклоном головы, движениями напряженных рук, показалось, что он чувствует запах не только молока, но и ее рук. Вот она стоит в нескольких шагах. Та, о которой мечтал все эти месяцы, иногда казавшиеся годами. Стоит только окликнуть, сделать несколько шагов. Сбылась ли?

Он стоял, оцепенев, глядя в желтый квадрат света, который казался теперь не просто дверным проемом. Воронцов вдруг ощутил, что там, за крыльцом, живет и он, Санька Воронцов, пусть какой-то своей частью, пусть не весь, но там, там... И всегда жил. А теперь просто возвращается.

Зинаида между тем закончила работу. Сдернула с доенки марлю. Повернулась к двери и, как показалось Воронцову, какое-то мгновение напряженно смотрела в темноту. Неужто почувствовала? Потом вышла на крыльцо, прислушалась. Воронцов замер, как снайпер, когда выбирается на нейтральную полосу. Зинаида сбежала вниз и, сияя в непроглядной темени белым платком и такой же белой доенкой, торопливо пробежала по тропинке. Воронцов догадался, куда она направилась, — к колодцу. Там, в ракетах, был родник, в который Петр Федорович вставил сруб. Той памятной зимой, когда Воронцов с Кудряшовым забрели в Прудки, спасаясь от немцев, мороза и голода, Петр Федорович как раз и занимался ремонтом бочажка. Вытаскивал старые, сгнившие плахи, пахнущие застарелым илом, которые глубоко просели и уже не держали наплывавшего с боков грунта. Петр Федорович поменял их на новые. Вся деревня ходила в этот колодец, чтобы набрать воды для вечернего семейного чая. Его так и называли — Бороницын Ключ.

Воронцов стоял в двух шагах от стежки, по которой возвращалась от родника Зинаида. Туда она пролетела мимо, даже не взглянув в его сторону. Видимо, после света глаза не привыкли к темноте. Она шла на ощупь, но быстро, изредка сосупая с белой стежки и забредая в темную дымную росу. И когда возвращалась назад, сразу увидела его, охнула, и белая доенка глухо звякнула у ее ног. Зашумела в траве вода. Всего одно мгновение длилось молчание. А в следующее она произнесла его имя. Без всякого вопроса, как будто заранее

зная, что он придет именно в этот вечер и именно сюда. Он подбежал к ней и обнял, и сразу узнал ее тело, запах. В какое-то шальное мгновение показалось, что он целует Пелагею. Но только одно мгновение длилось это ослепление, когда он готов был назвать дорогое ему имя.

— Зиночка... Зиночка... — Он шептал какие-то слова, которые сами собой рождались и выходили наружу. Шептал, задыхаясь, и вновь повторял одно только слово, одно только имя. Его было достаточно, чтобы выразить все, что сохранил и что принес в этот поздний час.

— Вернулся... Ты вернулся к нам... Сашенька... — Она вырывалась из его рук и сама обнимала его, обхватывала голову, оплетала плечи, целовала в глаза и в губы. Он чувствовал ее теплое дрожащее дыхание.

— Зина! Ты где, доча? — послышался голос Петра Федоровича.

— Да здесь я, тятя! — Отозвалась она не сразу, и то, что запоздало откликнулась, и это «да здесь», произнесенное возбужденно, радостно, заставили Петра Федоровича снова окликнуть ее:

— Что там такое, Зина?

— Саша вернулся! — сказала она дрожащим, западающим голосом.

Во дворе на некоторое время воцарилось молчание.

— Какой Саша? — уже тише спросил Петр Федорович.

— Саша! Наш! — снова сказала Зинаида.

— Наш? Неужто Ляксандр, Курсант?

Скрипнула калитка, послышались торопливые шаркающие шаги. Петр Федорович дважды обошел их вокруг и сказал:

— Ну-ка, дочь, отпусти. Дай поздороваться. Оплела, как хмель...

В доме, услышав голоса, доносившиеся с улицы, все переполошились. Когда Воронцов переступил порог, возле белой печи, занимавшей добрую половину малой горницы, увидел стоявших в ряд Пелагеиных сыновей. Рядом стояла мать Зинаиды — Евдокия Федотовна. Она держала на руках девочку, которая смотрела на него глазами Пелагеи. Это Воронцов отметил сразу. Зинаида написала правду.

Мать Зинаиды что-то шепнула девочке на ухо. Та внимательно и, как показалось Воронцову, недоверчиво посмотрела на него. Затем Евдокия Федотовна опустила малышку на земляной пол.

И тут младший Пелагеин сын, Колюшка, подбежал к Воронцову и с криком:

— Папка вернулся! — обхватил его, прижался к шинели.

За младшим двинулся Федя. Он молча ткнулся головой в живот Воронцова и заплакал. Но старший, Прокопий, остался стоять у печи.

А Воронцов смотрел на девочку, которая, видя, что братья не боятся чужого, медленно перебирала ножками по земляному полу и тоже приближалась. Затем она остановилась, внимательно посмотрела Пелагеиными глазами, словно решая, можно ли доверять ему, и внезапно радостно и доверчиво вытянула вперед ручки. Воронцов подхватил девочку и бережно, чтобы не испугать, прижал к груди.

— Вот, Ляксан Григорич, дочка твоя. Сберегли. Своячине руки за это целуй. — Петр Федорович подошел к столу, сел на лавку и по-хозяйски положил руку на столешницу.

Улита замерла в его руках, как пойманная птица, которая еще не знала, добро ли то, что она оказалась в этих крепких, теплых руках, или надо попытаться поскорее высвободиться. Зинаида почувствовала настроение девочки и взяла к себе. Улита тут же радостно охватила ее за шею цепкими загорелыми ручонками. Но в следующее мгновение оглянулась на

Воронцова и осторожно улыбнулась. Все в ней было Пелагеино.

— Ишь, юла. Иди, иди, Улюшка, он тебе не чужой. Кровь-то — манит.

В эту ночь он долго не мог уснуть. Закрывал глаза, гнал видения, внезапно появившиеся из серой мглы бессонницы, и думал оторопело: как же я собирался проехать мимо? Как же я мог даже думать об этом? Вот как война огрубляет человека.

В последнее время Воронцов часто слышал: война спишет... Говорили, не пряча усмешки, те, кто пытался простить себе многое. Люди подчас позволяли такое, о чем в иных, обычных обстоятельствах, и думать бы остереглись. Но теперь перед ними открылись вдруг некие двери, до этого времени запертые, и не просто распахнулись, а будто спали все удерживающие запоры и петли. Многие моральные нормы оказались поколеблены, потеснены человеческим хотением перед лицом смерти: хоть час, но мой, и война все спишет... Как ни странно, меньше всего этот принцип действовал на передовой. Там, под пулями, человек тосковал по довоенному времени, которое вынужденно оставил. Солдата укрепляла мысль о семье, о доме. Мужья думали о женах и детях. Сыновья — о сестрах и матерях, о младших братьях и невестах, которых нужно защитить. Фронтовики знали: каждый день в окопе, каждая атака, даже не совсем удачная, — это метры отвоеванной у врага земли. А значит, все дальше они отгоняют войну от дома. Другим же дом еще предстояло отбить у противника. Белоруссия, Украина, Молдавия, Прибалтика, северные области Российской Федерации, запад Смоленской еще занимали оккупанты.

А родина Воронцова уже очищена от немцев. Здесь уже тишина. Что ж так беспокойно на душе? И встречают его здесь с добрым сердцем, с открытой душой и, быть может, с любовью, выше и счастливее которой ничего нет и быть не может. Но что же так тревожно?

Его положили на широкой лавке, стоявшей в простенке между дверью и окном. Воронцову показалось даже, что это была та самая лавка, на которую его укладывала Пелагея, когда он из бани перебрался в ее хату.

За ситцевой занавеской вздыхала Зинаида. Видать, и ей не спалось.

Утром Воронцов проснулся оттого, что услышал за окном знакомые голоса.

— Ну что, дядь Петь, дождались зятя?

— А ты откель знаешь?

— Знаю.

— Эх, Иван Иваныч, тебе бы в милиции работать!

— В милиции... Там пускай инвалиды работают. Я на фронт уйду. Вот немного побуду тут с вами и поеду в райцентр, на комиссию. Вашему-то тоже недолго в тылу прохладиться.

— А ты чего пришел? На работу сегодня что, не пойдешь?

— Пойду. Я ж не инвалид, выйду и на работу. Нам там немного осталось. К вечеру плуги готовы будут. Железа вот только подходящего нет. Надо бы в лес сходить.

— В лес... Опасно ходить по лесу. Минеры обещались приехать. Вот потом и пойдешь.

— Дело, дядь Петь, не ждет.

Что-то Иванок задумал. Что-то он и вчера вечером недоговаривал. И этот странный седобородый, встретившийся на дороге в лесу... Воронцову сразу показалось, что все это связано в один запутанный узел. И Иванок наверняка знает, где спрятаны концы.

Воронцов встал. Дети еще спали. Он слышал тихое посапывание, доносившееся с печной лежанки.

Вышел на крыльцо. Иванок сидел на боковой лавке и встретил его таким взглядом, как будто они расстались минутой назад.

— Здорово, товарищ лейтенант.

— Здорово. Ты что так рано?

— Дело есть. — Иванок покосился на Петра Федоровича, заводившего в оглобли гнедого коня, которого Воронцов сразу узнал. — Пойдем-ка к пруду.

Они спустились к ракитам, пошли по дороге, ведущей на соседнюю улицу. Именно там, за ракитами, стоял когда-то Пелагеин двор. Но туда они не пошли.

— А дело, товарищ лейтенант, вот какое. — Иванок приступал к разговору основательно. — На прошлой неделе пошел я в лес. Я ж на кузне теперь работаю. Надо было железяку подходящую подобрать, чтобы бороны подлатать. Пошел. Дай, думаю, самолет покурочу. Взял зубило, молоток, ключи. Домой возвращался уже ночью. Иду, а возле нашего лагеря, слышу, голоса. Помнишь, землянка где была? Я вначале подумал, что опять из трофейной команды приехали. Они тут все лето местность обшаривали. Даже землянку разобрали. Правда, там, кроме костей двоих полицаев, ничего не нашли. Нет, смотрю, не трофейщики. Форма на них странная. Одни одеты как партизаны. Кто в чем. И оружие у них наше, ППШ и винтовки. А другие в куртках, штанах с напуском, в ботинках и кепи.

— «Древесные лягушки», что ли? Откуда они здесь?

— Вот именно, «древесные лягушки». Чуть погода, смотрю, забегали. А со стороны Черного леса послышался гул мотора. Самолет. Они побежали на поляну и подожгли кучу хвороста. Потом другую. Разговаривали и по-русски, и по-немецки. Одного-то я вроде признал. Он в отряде у Юнкерна был, в Андреенках. И голос его я, кажись, слышал. Командовал он. Самолет пролетел низко. Вернулся назад. Опять пролетел, теперь уже выше. А через минуту опустились два парашюта. Человек и контейнер. Самолет улетел. Ушли и эти. Костры потушили, разбросали по лесу.

— И что, ты никому не рассказал?

— Кому тут расскажешь? Только народ переполошишь. Хотел в райцентр съездить. Но они вроде сами обещались приехать. Вот, жду. А время уходит.

— А на Андреевском большаке что ты делал? Карабин у тебя откуда?

— Карабин из землянки. Когда я казаков пострелял, убитых мы с Зинкой в дыру спустили. Туда же побросал и винтовки. Вот, теперь пригодились. Трофейщики не нашли. Винтовки я в другую дыру засунул и сбоку землей присыпал. Казака я точно узнал. Его зовут Кличеня. Знаю, у кого он и жил там, в Андреенках. У Кирюшчихи. Мужа ее в сорок первом под Ельней убили. Вот и приняла себе нового мужика. Он, гад, и Шуру угонял. И деревню потом грабил. Я его хорошо запомнил.

— Кличеня? Это фамилия или прозвище?

— Может, фамилия. А может, и прозвище. Возле костра так и носился. И Юнкерн, это точно его голос был, называл его Кличеней. Сестру, Шуру, именно он к машине привел и потом на кузов запихивал. Мать рассказала, за волосы тащил. Измывался, гад. Утром я опять туда ходил. Взял карабин и пошел. Там у меня патроны были припрятаны... Следов они почти не оставили. Действовали осторожно. Но там, где бегал Кличеня, след я все же нашел. Раздавленное муравьище. След отчетливый. Видны все рубчики, все гвоздочки. Я его запомнил. А завтра пришлось ехать с дядей Петей в Андреенки. И там, возле дома Кирюшчихи, на дороге, я увидел точно такой же след.

— Так вот ты какого лося вчера караулил?

— Хочется мне его за волосы потаскать. Живого. Спросить, помнит ли он Шуру Ермаченкову. А потом шлепнуть, гада. Такие жить не должны.

— Насчет шлепнуть ты не горячись. Может, обознался.

Иванок усмехнулся.

— Ты что, товарищ лейтенант, труханул? Не хочешь связываться? Ну и ладно. Только помалкивай о том, что я тебе сказал. Сам справлюсь. Я знаю, где их можно подкараулить.

— А что это за человек, с которым ты в лесу на дороге вчера разговаривал?

— Я? Ни с кем я не разговаривал.

— Как не разговаривал?!

— А так. Сидел в кустах и наблюдал за дорогой. Конюх Куприянов действительно проехал мимо. Но он меня не видел. Ни когда ехал в Прудки, ни когда — обратно. А ты что, слышал разговор?

— Слышал. И думал, что это ты разговаривал с тем стариком.

— Вот тебе и загадочка. Конюх-то Куприянов знаешь, кем Кирюшчихе доводится? Отцом!

— Выходит, я вчера слышал разговор тестя и зятя?

— Выходит. Что будем делать?

Воронцова поражал цепкий ум Иванка. Полгода, проведенные в разведывае, явно не прошли даром. Последняя фраза заставляла подумать. Иванок уже не рассчитывал на свои силы.

— Сколько их было?

— Четверо бегали возле костров и человек пять сидели в овраге. Еще один спустился на парашюте. Так что не меньше десяти.

— Многовато для двоих.

— Но мы ведь с тобой фронтовики, — подмигнул ему Иванок.

— А ты думаешь, там необстрелянные новички? Надо доложить в комендатуру. Пусть ими Смерш займется. А у нас и оружия нет.

— Оружие-то найдется. Вторая винтовка у меня есть. Патронов тоже достаточно. Есть пять гранат, четыре «феньки» и одна противотанковая.

— Они тебя не видели?

— Нет.

В тот же день Воронцов попросил у Петра Федоровича Гнедого и вместе с Иванком отправился в райцентр. Петра Федоровича спросил:

— Где есть пилорама?

— Только на станции. Там, за путями, в леспромхозе.

И он сказал Петру Федоровичу, что решил раздобыть досок для пола. Иванок с матерью тоже жили в недавно отстроенном доме без полов.

— Э, ребята, где ж вы нынче пиломатериал раздобудете... — безнадежно махнул председатель колхоза. Уж он-то знал, что доски и тес отпускаются по строжайшему лимиту, через райисполком, и накладные подписывает сам предрик Павел Савельевич Силантьев. Но Гнедого им все же дал. — Поезжайте, раз прокатиться захотелось.

Когда проезжали Андреевки, Воронцов чувствовал настороженные взгляды местных жителей. Да, это село жило своей жизнью.

Возле моста они встретились со вчерашней повозкой. Седобородый старик Куприянов и на этот раз только скользнул по их лицам рассеянным встречным взглядом.

— Видал? — толкнул Иванок Воронцова в бок, когда они выехали из села.

— Тихое место. — И Воронцов некоторое время смотрел в сторону уходящих за

перелесок дворов.

Погодя спросил:

— Смерши их тут не потревожили после ухода немцев?

— А все казаки и те, кто с ними был, смылись. Одни бабы остались. Сочувствующие. Так их тут теперь называют. И обыски были, и облавы. Ничего не нашли. А следы, как видишь, появляются. Свеженькие.

В райцентре Воронцов пошел прямо к предрику Силантьеву. Расстегнул шинель, чтобы видны были боевые награды. Полевую сумку, на всякий случай, оставил под подстилкой в телеге. Иванок ждал его на улице. И вскоре Воронцов вышел на райисполкомовское крыльцо сияющий, с какой-то бумажкой в руке.

— Вот! Вот наши доски, Иванок! Так что к зиме с полами будете.

Иванок покрутил головой:

— И как ты его уговорил?

— Все просто! Он в сорок первом был ранен под Юхновом. Наша Шестая рота сменяла их на Извери. Бывший пограничник. Из батальона Старчака^[6].

— Выходит, блат у тебя тут?

— Выходит.

— А тебе что, бесплатно доски выделили?

— Почему бесплатно? Вот сейчас оплатим в кассу леспромхоза, и можно будет забирать наши полы!

— А деньги?

— Есть, Иванок, деньги. Есть. Это уже не твоя забота.

Иванок втянул голову в плечи. Потом, уже когда переехали через железнодорожные пути, сказал:

— Как думаешь, война еще долго продлится?

Воронцов засмеялся:

— Думаю так: до офицера ты успеешь дослужиться, так что домой вернешься при деньгах.

Иванок тоже улыбнулся. И вдруг спросил:

— А что ж мы в комендатуру не заехали?

— Незачем нам туда ехать. Ты же сам понимаешь. Ну пришлют они взвод. Начнут лес прочесывать. Выйдут на хутор...

— Тебе Зинка рассказала?

— Рассказала.

— Как думаешь, Юнкерн про хутор знает? А может, они там живут?

— Вряд ли. Тогда бы они и парашютистов встретили там. Место укромное. Не хуже Красного леса. Надо нам туда как-то съездить. Не знаешь, седла у Петра Федоровича есть?

— Есть. Как раз два седла. Немецкие, кавалерийские. Председатель наш человек запасливый. У трофейщиков за самогон выменял.

— Если сегодня доски привезем, завтра поедем на хутор.

Иванок вскочил, обхватил рукой Воронцова и сказал:

— Ну, Сашка, веселый ты парень! Хорошо, что ты приехал. А то мне в деревне, со стариками и бабами... Значит, завтра в разведку.

— Винтовки хорошенько почисти и смажь. Патроны тоже протри. Они у тебя в обоймах? Или россыпью?

— И в обоймах, и россыпью.

— Обоймы тоже прочисти. Чтобы нигде ни песчинки.

— Слушаюсь. Будет сделано.

С запиской от Силантьева их встретили, как на армейском складе с приказом от командующего армией. И через полтора часа они уже гнали Гнедого, поспешая за тяжелым ЗИСом, до края бортов нагруженным доской-пятидесяткой. Завскладом приказал грузчикам брать доски из сухого штабеля.

Бой, произошедший между оборонявшими берег и форсировавшими реку, пуля наблюдала сверху. Ей вдруг захотелось посмотреть, каковы укрепления на высоком берегу над обрывом. Чем выше она поднималась над рекой, тем виднее становилась общая картина событий на линии «Восточного вала». На западном берегу проводилась лихорадочная перегруппировка. Танковые и моторизованные колонны двигались то вправо, то влево. Они концентрировались в нескольких километрах в глубине обороны. Там же занимали заранее подготовленные позиции артиллеристы. И только пехота подтягивалась ближе к Днепру, занимая передовые линии траншей. А с другой стороны к реке текла другая масса войск. Тягачи тащили тяжелые гаубицы. Конные упряжки выбивались из сил, выволакивая из грязи длинноствольные противотанковые орудия. По большакам, растянувшись на многие километры, двигались танковые колонны, пополненные новыми, пахнувшими заводской краской «тридцатьчетверками» и тяжелыми КВ. Шла не знающая устали матушка-пехота. В небе рыскали истребители. Иногда они схватывались прямо над Днепром, но вскоре уходили каждые на свой берег. Пока у неприятелей еще были свои берега. Но русские стремительно наращивали силы. В некоторых местах они переправились на правый берег и отбили небольшие плацдармы, яростно расширяя их. Русским нужен был правый берег. Потому что это их река и их берега. Там, за Днепром, многих ждали семьи.

Глава седьмая

Первой вернулась разведгруппа старшего сержанта Численко. Все перераненные осколками гранат, они буквально рухнули на землю возле ротного и связистов. Нелюбин приказал разбудить санитаря. Начали перевязывать. Раны, к счастью, оказались легкими. Старшего сержанта Нелюбин взялся перевязывать сам. Дело привычное. Рана неопасная. Тот, тяжело дыша, сквозь хрипы докладывал:

— В деревне немцы. Местных никого. Видать, угнали на запад. В километре, в лесу, рядом с большаком, колонна танков. Есть «тигры» и самоходки «фердинанд». Зарываются в землю. Там же, но с другой стороны дороги, минометная батарея и несколько ПТО. Немцы в деревне не спят. Похоже, ждут, что наши вот-вот начнут переправу основными силами. Или, еще хуже, готовятся выкуривать нас.

— А «языка» что же не взяли?

— Да взяли мы «языка», Кондратий Герасимович. Но уже в овраге напоролись на патрульных. Вы ж слышали, какая заваруха началась. А немец вырвался и побежал. Пришлось пристрелить.

— И это называется — взяли... Вы ж не воду во рту несли, Численко.

— Не воду... Сами едва вырвались.

Спустя полчаса пришла вторая группа. Лейтенант Кузеванов вел своих тихо, кустик не шелохнулся.

— Ну что, Андрей? Что там, на берегу? — Нелюбин с надеждой смотрел на лейтенанта Кузеванова, на своего лучшего взводного. Какую весть принес он ему? Утешит ли чем? На груди зачесались родинки шрамов. Нелюбин сунул руку под гимнастерку. Зуд невыносимый. С некоторых пор стал замечать: перед непогодой и в такие вот минуты, как эта, начинали зудеть, чесаться шрамы на груди и ломало, выворачивало задетую пулей ключицу.

— Две линии траншей. Но еще окапываются. Видимо, не успели заранее оборону подготовить. Глубже, может, и третья есть. Там моторы гудят, танковые. На каждые сорок-пятьдесят метров — пулемет. Предположительно, на каждое отделение у них по пулемету.

— Густо.

— Часть людей отдыхает. Спят прямо в окопах, на земле. Часть окапывается. — Кузеванов сделал паузу и вдруг сказал: — Товарищ старший лейтенант, а похоже, что наше присутствие здесь их не сильно беспокоит.

— Почему ты так думаешь?

— То, что фронтом вдоль берега они окапываются, понятно. Но овраг контролирует один патруль. Всего один. Три человека. Может, они думают, что нас совсем мало? Разведгруппа...

— Тогда почему сразу не полезли отлавливать? Разведгруппу. Эх, батя тянет... Сейчас бы полку самое время переправляться! Мы бы во фланг ударили. А полк тем временем переправлялся.

— Что, молчит штаб полка?

— Молчит. А я на связь не выхожу. Чтобы немцев не беспокоить. Слушают, наверняка слушают. Ты, Андрей, наряди-ка двоих своих ребят, понадежней, пусть на тот берег сплывают. За одно Москвина на острове проведает. Лодку у него возьмут. На лодке им до нашего берега — десять минут... Пусть разыщут кого-нибудь из штаба полка. Доложат

обстановку: так, мол, и так, закрепились в овраге правее деревни, немцы окапываются, нас пока не беспокоят, самое время по ним ударить.

Кузеванов исчез в ночи. Даже шорох его шагов тут же поглотила темень и густой, как вата, туман, который начал заполнять овраг. Значит, время уже за полночь, понял Нелюбин, и Днепр тоже покрыт туманом. Что же полк мешкает?

Рядом, в ровике, открытом в склоне оврага, похрапывал связист. Спал он чутко. Посопит, посопит, и вдруг затихнет, даже дыхание останавливает — слушает. Связист у Нелюбина боец бывалый. Под Хотынцом в окружении неделю посидел, знает, почему фунт лиха и что значит уснуть под носом у немцев.

Немецкий пулемет постукивал то дальше по берегу, то совсем близко. То ли поменял угол огня, то ли стрелял уже другой, находившийся дальше. В стороне города тоже работали дежурные пулеметы. Но там все еще слышались и резкие одиночные выстрелы мосинских винтовок. Иногда бухали гранаты. Нелюбин снял с головы каску, расправил пилотку. Неужели, думал он, наступит такое время, когда он, Кондратий Нелюбин, будет стоять вот такой же ночью в октябре, только не в овраге под немецкими траншеями и не на мушке у немецких патрулей, а где-нибудь на краю поля, на границе села, своих родных Нелюбичей, и простора распаханной зяби, и слушать запахи родной земли, потревоженной плугом. Неужели существует еще на земле такой рай? Неужто еще возможен? Он почувствовал, как струйка пота скользнула между лопаток и истаяла под ремнем. Передернул плечами, вздохнул, огляделся. Зачем я об этом думаю, спохватился Нелюбин. Связист всхлипнул во сне и затих. И спать-то люди по-человечески разучились на этой проклятой войне. Спи и дрожи, как заяц под кочкой рядом с волчьей тропой...

Третья разведка вернулась через час, когда и Нелюбин задремал, присев возле связиста и укутав колени полами шинели. Послышались приглушенные голоса часовых. Потом хриплый шепот замполита.

— Положите где-нибудь, — сказал кому-то Первушин.

— Что с ним? Ранен? — Часовой подошел к лежавшему в плащ-палатке.

— Готов...

Одного принесли мертвого, тут же догадался Нелюбин. Вот так. Кого же? Он встал и пошел на ту сторону ручья, где, перевалившись через гребень обрыва, отдыхала разведка.

— Что у вас, Игорь Владимирович?

Замполита в Седьмую прислали недавно. Но человеком он оказался покладистым, и Нелюбин быстро с ним сдружился, хотя обращался к нему по имени-отчеству. Лейтенант отвечал ему тем же. Москвич. Из профессорской семьи. Положительный человек. Начитанный, вежливый. Головы перед бойцами и младшими по должности не скидывал. Спирт не пил, изредка деля с ним, ротным, и взводными лейтенантами чай. Когда роту вывели в первый эшелон, Нелюбин всячески старался занять своего заместителя делами где-нибудь подальше от окопов, в тылу. Но однажды этот профессорский сын посмотрел ротному в глаза и сказал:

— Кондратий Герасимович, в чем дело? Я боевой офицер, имею такие же погоны, как и у вас и командиров взводов, а вы меня постоянно отсылаете выполнять какие-то второстепенные задания, с которыми вполне справился бы и старшина, и младшие командиры.

— Ну не в разведку же мне вас посылать, Игорь Владимирович. — Нелюбин тоже не прятал глаз. — Человек вы на фронте недавний, зеленый, можно сказать. Вот пообвыкнете,

тогда, может...

— У нас в роте половина состава бойцов, младших командиров и лейтенантов, кто еще ни разу в бою не бывал. Я должен быть вместе с ними.

Молодой, Авдею, может, ровесник, но твердость имеет. И Нелюбин его уважал как ровню. Правда, годы есть годы. Мальчишеское все же в характере, в натуре имеет. Нелюбин вспомнил сына и подумал: Авдей такой же.

Не нашел он Авдея на том распроклятом поле, уставленном разбитыми танками и самоходками. То ли санитары унесли. То ли в танке сгорел. То ли прямое попадание... Словом, не нашел. И писем с тех пор от него не получал. А потом перебросили их на другой участок фронта. Хотел разыскать его часть, разузнать по спискам, жив ли, убит ли, но и этого не получилось. Полк пошел вперед. А танковую бригаду, в которой воевал Авдей, отвели на пополнение. Досталось ей во время прорыва. «Тигры» и «фердинанды» выбили почти все машины. На том поле танки горели так, что среди разбитых и искореженных огнем и взрывами машин Нелюбин так и не смог отыскать тот родной КВ, на котором воевал Авдей и успели повоевать они, штрафники взвода самого Нелюбина.

— Левее нас, примерно в полутора километрах, прорвался штрафной батальон. С ним минометная рота и еще до двух взводов стрелковой роты. Заняли и удерживают плацдарм километр на километр. Немцы их обложили, пытались сбить, но они держатся. У них действует лодочная переправа. Переправляют на тот берег раненых, а оттуда получают подкрепление, боеприпасы, медикаменты и продукты. Командует плацдармом майор, комбат. Предложил нам, пока немцы не создали сплошную блокаду, перебираться к ним.

— Оно бы вместе отбиваться было бы лучше. И для них, и для нас тоже. Но приказ нам, Игорь Владимирович, даден другой. Тут держаться.

— Я понимаю. Но у них там хоть подвоз налажен.

— Ничего, ничего, и мы подвоз наладим. Раненых переправим. И у нас все будет. Тут надо держаться. Приказ. — Нелюбин стоял на своем. Другого выхода у него просто не было. Здесь, на плацдарме, страшно было всем. И все понимали друг друга.

— Была связь? — спросил Первушин.

— Да, батя приказал овраг удерживать. Вот-вот полк начнет переправляться. Так что...

Это «так что», произнесенное Нелюбиным твердо, и не предполагало окончания фразы, оно означало: держаться будем здесь.

— Хорошо.

Наступило молчание. Но Нелюбин, чувствуя, что замполит хочет сказать еще что-то, спросил:

— Где ж его? — И кивнул на тело разведчика, по-прежнему лежавшего на плащ-палатке.

— Тут, недалеко. На выходе уже. На пулемет выползли. Туда шли, никого не было. Назад — вот, на тебе...

— Значит, смыкают колечко.

С берега прибежал наблюдатель, доложил:

— Товарищ старший лейтенант, Жарков и Шутов с того берега прибыли.

— Где они?

— Там, на берегу. Лодку разгружают. С ними капитан, артиллерист и радист.

Услышав о прибывших на правый берег артиллеристах, Нелюбин почувствовал, как в груди разлилось ликующее тепло. Появилась не просто надежда, а теперь уже уверенность,

что они здесь выстоят. С артиллерией пехоте и танки не страшны. Вот и подвоз, кажись, налаживается.

Он коротко переговорил с капитаном-артиллеристом. Сообщил ему все разведанные.

— Через сорок минут начнется переправа полка. — Капитан оглядывался по сторонам, прислушивался. Голос его звучал глухо. Похоже, ему было немного не по себе.

Ничего, пообвыкнет, подумал Нелюбин.

— Какая наша задача? — спросил Нелюбин.

— По берегу начнет работать дивизионная артиллерия. Крупный калибр. Так что вам остается только наблюдать и не давать противнику укрыться в овраге.

— Ну да. Шарахнутся, ектыть, сюда, на наши головы, всей оравой. Затопчут. Один пулемет я все же оставлю на левом крыле. Остальные — сюда. — И Нелюбин толкнул в плечо своего вестового, спавшего под огромным деревом. — Взводных ко мне. Живо давай.

Нелюбин поставил лейтенантам задачу для взводов. Итожа сказанное, похлопал по парусиновому чехлу саперной лопатки, которая всегда, со времен его старшинства, висела у него на ремне, даже когда появилась портупея:

— Окапывайтесь. Лезьте, ребятки, в землю. Потому как весь огонь немец на нас опрокинет.

И действительно, через час и двадцать три минуты началось то, что немцы готовили здесь, на Восточном валу, уже давно.

Глава восьмая

Петр Федорович, пересчитав доски, сказал:

— Тут на три хаты хватит. С гаком.

Утром на наряде он провел короткое собрание колхозников, где и было принято решение: досками, оставшимися после обустройства домов Бороницыных и Ермаченковых, выстлать полы в новом доме инвалида-фронтовика Дмитрия Ивановича Степаненкова.

Скудно зато жили в Прудках. Редкое благо делили либо на всех поровну, либо отдавали тому, кто нуждался особо. Степанята — самая большая семья в Прудках. Пятеро детей. Дмитрий воевал в танковой бригаде. Был механиком-водителем Т-26, потом «тридцатчетверки». Два раза горел. Под Можайском его вытащили из танка за минуту до взрыва боеукладки. Выжил. Но ногу в полевом госпитале отхватили выше колена.

В то утро после наряда старики собрались возле бороницынского дома с плотницким инструментом. И закудрявились золотые стружки, зазвенела тетива, отбивая прямую линию на кромке доски, захлопали топоры, запели пилы. Кто ладил лаги, кто подкатывал под дубовые «стулья» подмостников валуны, чтобы пол лежал твердо. Быстро оттесали и выстрогали первые половицы, обрезали по размеру и стали заносить где через двери, а где и подавать прямо в окно. Окна выставили.

— Давай, давай! Не мешкай! — подбадривали друг друга старики и инвалиды.

— Ничего, мужуки! Отстроим дворы лучше прежних! Внуки еще поживут!

— Поживут! Поживут!

А Воронцов с Иванком тем временем въезжали в Красный лес.

— Ничего мы так не найдем, — сказал Иванок, глядя по сторонам. — Но мне все равно тут нравится. Саш, скажи вот что: кто у снайпера самый опасный враг?

— У снайпера? — Воронцов ехал впереди. Гнедой был подкован на передние копыта, и они постукивали, когда лошади выбирались на твердую дорогу. Лейтенант обернулся к напарнику и ответил: — Он сам.

— Это как же?

— Снайпер непобедим, если не допустит ошибки. Обычно единственной. Поэтому ему трудно учиться на своих ошибках.

— Странный ты человек. То веселый, то молчишь часами. О чем ты думаешь?

— Человек не должен рассказывать о своих мыслях.

— Даже другу?

Он оглянулся на Иванка. Так же, как и он, Воронцов очень часто терял друзей. На фронте так: познакомился, сдружился, поделил котелок каши и индивидуальный медицинский пакет, а через минуту твой друг уже лежит на земле с пробитой головой. Уже ничем ему не поможешь.

— Другу — иногда. Только другу. Мысли — это то, где человек может побыть в одиночестве. Или там, где ему хотелось бы оказаться. Или с тем, с кем хотел бы побыть. Даже в окопах, среди скопища людей, можно побыть на родине. Но об этом надо молчать. Иначе товарищи скажут: он заскучал. И начнут смотреть, как на покойника. Ты все это хорошо знаешь сам.

Иванок внимательно слушал Воронцова. И долго молчал. Потом вдруг сказал:

— Не зря говорили: наш командир с чудиной, но умный и везучий.

Воронцов засмеялся.

Возле землянки спешили. Лошадей привязали к сосне, которая когда-то служила коновязью. В дерево на разной высоте были вбиты скобы.

— Где закопали полицаев? — спросил Воронцов.

— Там. — Иванок махнул в сторону оврага.

— А где жгли сигнальные костры?

— Дальше, на поляне. Там и след Кличени. Я думаю, что его уже размыло дождем. — Иванок взял карабин под мышку и спросил: — Тебе Зинка ничего не рассказывала? О том кого она однажды встретила здесь, недалеко, на дороге?

— Рассказывала. То место, где они с Прокопием повстречались с «древесными лягушками» — ближайший путь к аэродрому.

Ничего не найдя, кроме размытого следа на муравьиной кочке и нескольких головешек в кустах, они сели на коней и двинулись по просеке в сторону хутора Сидоряты. Головешки от костра были явно раскиданы с тем расчетом, чтобы их не обнаружили в одном месте.

Коней особо не торопили. Ехали, посматривали по сторонам, слушали осенний лес. Лес в октябре замирает. Звуки становятся редкими, отчетливыми и слышны порой за несколько километров. Но ничего необычного они не услышали. Еще какое-то время колыхались в седлах молча, а потом начали тихо переговариваться. Первым начал Иванок:

— Даже костром не пахнет. — Он остановил коня, прислушался, поводит носом. — Костер бы я за несколько километров учуял. А сейчас такое время, что без костра в лесу не проживешь.

— Да, ты прав. Они, кроме всего прочего, должны ведь где-то жить. Ночи стали холодные. Под елкой особо не полежишь. Даже у костра. Мы с тобой жили в лесу. Ты сам знаешь, что это такое. Холод, сырость. Единственное спасение — костер.

— Если они не ночуют на хуторе...

Иванок резко натянул поводья. Конь шарахнулся с дороги.

— Ты что? — Воронцов пригнул голову, толкнул вперед затвор.

— Там мина. — Иванок спешился, привязал повод к березе. — Если мы погубим хотя бы одного коня, деревне зимой придется туго. Да и дядю Петю опять в комендатуру потащат.

— Осторожней, — сказал Воронцов, наблюдая за тем, как Иванок выкручивает взрыватель.

— Свеженькая. Как будто вчера поставили. И след вон есть. — Иванок отбросил в сторону взрыватель, осторожно вытащил из земли продолговатый цилиндр шпринг-мины и поставил ее под березу. Сверху присыпал листьями. Лунку затоптал.

— Похоже, кто-то очень сильно заботится о том, чтобы лес как можно дольше считался опасным местом, где мины на каждом шагу и куда лучше не соваться.

— Что будем делать?

— Пока ясно только одно: по дороге ехать нельзя.

Повернули коней в лес. Протискивались между деревьями, объезжали валежины, огибали овраги. В конце концов, исцарапавшись о сучья, спешили и повели коней в поводу. Иванок пытался заговорить. Задавал какие-то вопросы. Но вскоре заметил, что Воронцов его не слышит, и, прибавив шагу, ушел вперед.

Воронцов думал о том, что с ним произошло в последние два дня. Перед выездом в лес он взял на руки Улиту. Девочка смотрела на него все тем же настороженным взглядом. Потом потрогала рубец шрама над левой бровью и сказала:

— Бо-ба, бо-ба...

— Уже не бо-ба, Улюшка. Все уже зажило. А скажи, кто я? А, Улюшка? Ты знаешь, кто я?

Девочка потупилась. Потом снова потрогала шрам. И, когда он повторил вопрос, закрыла рот ладошками и замотала головой.

— Улюшка, — окликнула ее Зинаида, — это папка твой. Папа Саша.

— Саша, — сказала Улита и засмеялась.

Зинаида улыбалась. Зеленые глаза сияли глубиной, которая озаряет взгляд женщины, когда рядом мужчина. И он, и она понимали, что рано или поздно они перейдут ту зыбкую черту, которая хоть и удерживает пока, но уже почти незрима. После того, что произошло у родника, он не посмел даже притронуться к Зинаиде.

Он вдруг спросил себя, куда он едет? Что ищет в лесу? Но в следующее мгновение спохватился: надо передать посылку Анне Витальевне, справиться о здоровье детей, узнать, что привезти им в следующий раз? Не поехали бы они с Иванком, поехала бы Зинаида. А на дороге появились мины... Они нашли всего одну. Сколько их еще здесь осталось?

Если они встретят в лесу людей Юнкерна, «древесных лягушек» или казаков, придется стрелять. Как же не хочется! Как он устал стрелять в людей! Да еще здесь, откуда уже полгода как ушла война. У Иванка есть цель. Ему кажется, что, если он отыщет казака Кличеню и расправится с ним, то тем самым каким-то образом поможет сестре вернуться домой. В какой-то степени он прав: если здесь, в Красном лесу, действует зондергруппа, а Кличеня в ее составе, то, уничтожив диверсантов, они помогут нашим войскам быстрее продвигаться вперед. На Днепре сейчас идут бои. Захвачены плацдармы. Никто не ожидал, что атака правого берега начнется с ходу, без подготовки. Где-то там и его особая штрафная рота. Жив ли Кондратий Герасимович? Что с капитаном Солодовниковым? Он послал письмо Нелюбину. Интересовался, спрашивал и о других. Знал, что его весточку из госпиталя будут читать всей ротой. Но ответа не дождался. Письмо от Кондратия Герасимовича, если он жив, может, и пришло. Но теперь, из госпиталя в Подлесное, его перешлют не скоро. Пока припишут новый адрес, передадут обратно на почту, да пока будет плутать в пути... Правда, утешало, что до ноября оно все же дойдет, и ротные новости, пусть месячной давности, он все же узнает.

Нет, Иванок все же прав. Если зондергруппа здесь, ее надо каким-то образом хотя бы вытеснить отсюда. А если с группой остались и казаки... От этих можно ждать чего угодно. С прудковцами у них старые счеты. Тогда, позапрошлой зимой, они наверняка не всех прихватили. Кто-нибудь да ушел. Нагрянут, беды наделают. Иванок это понял давно.

Вскоре они вышли к сбитому самолету. Иванок внимательно обследовал останки «лаптежника» и сказал:

— Кто-то здесь уже побывал. После меня. — И указал на зияющие дыры на плоскостях и на боках самолета. — Этого не было.

— Ты думаешь, один из Прудков сюда ходишь?

— Из Прудков — один. Не ходят наши в Красный лес. Боятся. После того, как бабка Верка с коровой подорвалась, никто в лес ни ногой.

— А почему саперов не вызвали?

— Дядя Петя вызывал. Были они здесь. Неделю жили. И саперы, и трофейщики. Они поля разминировали. Две машины боеприпасов увезли. Когда немцы здесь стояли, минные поля были везде. Особенно они боялись леса. И противотанковых поставили, и «лягушек».

— А в лесу? Мины на дороге их работа?

— Точно не знаю. Но вряд ли. В лес они вообще не совались. Саперы много мин обнаружили по опушке и в поле. Дорога была чистой. Я по ней ходил. Бабка Верка подорвалась в поле.

Дальше пошли по просеке. Решили обследовать ее, не заминирована ли.

— Там, на берегу речки еще один самолет. Бомбардировщик. Тоже немецкий.

Просека оказалась чистой. Никаких следов они здесь, кроме старых отпечатков конских копыт, не обнаружили.

— На хутор кто ездил? Ты? Или Зинаида?

— И я, и Зинка. По очереди.

— Кто еще в Прудках знает о Сидорях?

— Все знают.

— А не проговорятся?

— Нет, не проговорятся. У нас это не принято.

Когда выбрались на высотку, откуда открывался обзор и на запад, в сторону озера Бездон, и на север, где проходила Варшавка, а Красный лес переходил в Черный, Воронцов вытащил из полевой сумки бинокль и начал осматривать местность. Иванок некоторое время терпеливо ждал его, потом усмехнулся и тронул повод коня.

— Так ты их не увидишь, — сказал он, когда они уже спустились в пойму речки Вороны и пустили коней вдоль берега. — Что ж они, совсем дураки? Сюда вообще не пойдут.

— Ты прав. Их интересует, конечно же, аэродром. Сейчас там наверняка базируются бомбардировщики дальнего действия. Аэродромы подскока переместились ближе к фронту. Так что истребители и штурмовики взлетают с площадок, которые оборудованы там, возле Днепра, километрах в двадцати-тридцати от линии фронта. А тут — тяжелая авиация дальнего действия, которая работает и по тактическим целям и, что самое важное, по стратегическим. Для немецкой разведки — это особый объект. Ты Юнкерна в лицо знаешь?

— Нет. Но мы пойдем, кто из них Юнкерн. — Иванок резко повернулся к Воронцову. — Голос его узнаю. Еще с той поры, когда он наш отряд выкуривал. Тогда он нас, а теперь мы его... Вот было бы здорово березки ему, гаду, завить.

Завить березки — партизанская казнь. Приговоренного ставили между двумя молодыми березками, нагибали к земле верхушки, и, привязав ноги, одновременно отпускали. Так расправлялись с полицаями и предателями.

— Юнкерн немец.

— Немец? Нет, не немец. — Иванок разговаривал короткими торопливыми фразами, после которых делал продолжительную паузу, прислушивался, приглядывался к местности — привычка, приобретенная во взводе конной полковой разведки. — Разговаривал по-русски чисто. Без акцента. Шутил, матюкался. Так немцы не умеют. — И вдруг спросил: — Саш, как ты думаешь, где сейчас Старшина и Владимир Максимович?

— А почему ты спросил сразу о двоих?

— Вспомнил обоих. Они же там, на Угре, вместе остались.

— А почему вспомнил сейчас? Думаешь, и они здесь?

— Не знаю. Все может быть. Но их голосов я ночью ни возле костра, ни в овраге не слышал.

Не хотел бы и Воронцов встретить здесь бывшего начштаба Владимира Максимовича Турчина и Георгия Алексеевича Радовского, человека еще более загадочного. Но Иванок

прав: все может быть.

К концу дня они выехали к восточной оконечности озера Бездон и перешли вброд Ворону. Прозрачная, отстоявшаяся осенняя вода вытекала из озера ручейками, прорезая путь в плотном, спрессованном песке, смешанном с серым илом. Озеро, словно огромная чаша, переполняемая родниками, бьющими из глубины, исторгала часть воды, образуя настоящую речку.

Кони порой проваливались в ил, всхрапывали и шарахались по сторонам, пытаясь отыскать твердое место. Седоки их удерживали, правя на песчаную отмель. Наконец выбрались на берег.

— Смотри, — указал на середину озера Иванок, — кто-то на лодке плывет. И что он там сейчас делает?

— Нил. — Воронцов вскинул бинокль. — Нерет проверяет.

— На середине озера?

— На поплавах. Нерет держится в полводы. Чтобы не всплыл, он кладет несколько плоских камней. А чтобы не утонул, подвешивает его на поплавах из сосновой коры. Всегда видно, когда зашла рыба. Поплавки играют.

— Хитро придумал. Вот тебе и монах.

— Озеро его кормит. Да и монахом он был не всегда.

— А откуда берутся монахи? — как всегда неожиданно спросил Иванок.

— Из простых людей.

Иванок долго смотрел на озеро, на одинокую лодку, поблескивающую в заходящих лучах осеннего солнца. Он даже остановил коня, чтобы лучше видеть монаха Нила, который когда-то и не был монахом, а простым человеком из какой-нибудь деревни. И спросил:

— Саш, скажи мне вот что: вот монах живет, от людей ушел, молится, кормится ягодами, грибами, кореньями и рыбой. В чем же смысл его жизни? Чтобы от людей прятаться? От войны?

— Смысл его жизни? — Воронцов остановился рядом. Опустил бинокль. — Наверное, и молитве и есть.

— В молитве? А о ком он молится?

— О нас.

— О нас? Зачем мы ему? Он что, просит бога за нас? Молитва — это же просьба? Так ведь?

— Просьба. Перед богом.

— Перед богом?

— Да, перед богом. Нельзя же просить в пустоту.

— А мне кажется, что все это от страха.

— Конечно, от страха. У нас в роте курсант был, Краснов. Он перед боем всегда молился. А в штрафной — сержант Численко, тоже верующий. Они по-настоящему молились. В угол окопа не прятались. И всегда — за всех. Никогда я не слышал, чтобы кто-то из них перед боем за себя просил. За всех. Только за всех. Такая молитва скорее доходит до бога.

— Ты что, веришь, что бог есть?

Воронцов ничего не ответил. Иванок снова спросил:

— И что, жив тот курсант? Краснов. А сержант жив?

— Численко, может, и жив. Хотя... Он в телеге сидел, когда мина рванула. А Краснова я

похоронил два года назад. Тут, недалеко. Могилка, наверное, уже заросла. Вряд ли найдешь ее теперь. В лесу закопали. У дороги.

— Вот видишь. Не помогла ему его молитва.

— Как не помогла? Помогла. Он же за всех нас перед богом просил. Умер на наших руках. Мы его похоронили. Не бросили.

— Значит, ты тоже в бога веруешь? — снова спросил Иванок.

— Спроси что-нибудь полегче.

Иванок задумался. Покрутил головой, послушал лес, принялся. И долго смотрел за озеро, будто процеживая сквозь рыжеватые ресницы неровную кромку ольх и сосен. Разведчик есть разведчик. О том, что спрашивал Воронцова, он уже забыл. Но думал с другом, о главном. Ради чего они сюда приехали.

Переночевали на хуторе. Утром, еще только-только засветлелось над озером, Воронцов вышел во двор. С озера веяло холодом. Промозглый ветер задувал под шинель, и Воронцов, постояв немного, запахнул ее. Он оглядел постройки. Хотел было пойти к шулу. Но услышал какой-то шорох и замер, прижавшись спиной к бревенчатой стене хлева. За стеной шумно вздыхали коровы, терлись боками о бревна, гремели рогами в пустых яслях. Ждали утренней охапки сена и поила. Эти звуки Воронцов знал. Они не беспокоили. А вот со стороны леса слышались торопливые шаги. Увидев знакомый силуэт, Воронцов сунул «вальтер» в карман и тихо окликнул:

— Анна Витальевна!

Шедшая вскрикнула от неожиданности и остановилась. В руках у нее Воронцов увидел пустой солдатский вещмешок.

— Вы меня напугали, — справившись с собой, сказала она и скользнула мимо, к дому.

Значит, и Радовский здесь, сразу понял Воронцов и пошел к шулу.

Кони стояли в углу, хрумкали сеном, позванивали уздечками. Когда он вошел, притворив за собою воротину, кони вскинули головы. В темноте тусклым оливковым блеском, будто отраженные в черной глубокой воде, сверкнули их глаза. Он подошел, погладил. Гнедой потянулся к карману. Ничего у него в карманах, кроме «вальтера», не было. Он отыскал лестницу, поставил к узкому проему, где на жердях, сложенные ровными штабелями, хранились липовые и ивовые веники для овец. Здесь, среди веников, было темно и тепло. Воронцов сунул руку под шуршащую ломкую листву и вскоре нащупал рукоятку автомата. Патронташ с рожками тоже лежал на месте. И тут же он подумал вот о чем: Анна Витальевна, если она ходила на встречу с Радовским, конечно же, рассказала ему о них. Если она и дальше будет делать вид, что ничего не происходит, то их дела плохи. Воронцов слез вниз, убрал к стене лестницу.

Нельзя было терять время, надо идти и разговаривать с Анной Витальевной. А если запрется и не признается, что виделась с мужем? Тогда говорить надо со всеми хуторскими. И обязательно навестить монаха Нила. Того и спрашивать не надо. Сам обо всем скажет. Или намекнет. Он в беде людей не оставит. Или срочно, не мешкая, уходить с хутора самим? Чтобы туда, в лес, тут же улетела весть: ушли. «Древесные лягушки» до сих пор хутор не тронули. Значит, и не тронут. У них своя цель. Хутор с его жителями им ни к чему. Но они с Иванком, с карабинами и кавалерийскими конями под седлами, нарушили эту странную, но все же устойчивую гармонию, и теперь, пока они здесь, ручаться нельзя было ни за что. Но и Иванка не остановить. Он попросту уйдет от него, попытается сделать то, что задумал, в одиночку и наверняка наделает больших бед.

Анна Витальевна, конечно же, не проста. Виду не подает. Действует осторожно. Оно и понятно, за каждым ее шагом, за каждым словом — три судьбы. Ее, конечно же, можно выследить. Но вряд ли она пойдет на свидание следующей ночью. К тому же долго торчать на хуторе нельзя. Каждый день и каждая ночь укорачивают его отпуск, сокращают время свободы, которую он еще не осознал вполне, а потому и не почувствовал в полной мере. Потому что не побывал в Подлесном, не повидал своих.

И вот Иванок втягивает его в непонятную историю, в которой должен разбираться Смерш. А они даже винтовки носят незаконно, за что запросто могут загреметь под трибунал.

Но, наблюдая за Анной Витальевной и хуторянами, Воронцов уже смутно чувствовал, что здесь замешаны не только Андреенки, но и Прудки, и Петр Федорович, и Зинаида. Иванок, скорее всего, сказал ему не все, что-то, возможно, самое главное, по природной прудковской хитрости, придерживает при себе. Яблоко от яблони... Прудки так жили: чужаку больше, чем чужаку, знать обо всем, что в деревне и вокруг нее происходит, не положено. А он не свой. Зятек. Даже та жуткая позапрошлая зима не сделала его своим.

Не думать о Зинаиде он не мог. А это значит — любоваться ею. Вспоминать слова, интонации голоса. Переживать ощущения первых минут встречи. Все эти дни, недели и месяцы, прожитые вдаль от войны, он мучился тоской по ней. О ней, быть может, даже больше, чем об Улите. Что же происходит, думал он? Что? Я полюбил сестру той, которая была мне женой? И если так, то хорошо ли это? Правильно ли? Полюбил... А если нет? Если их просто связывает Улита? Жить потом с нею и думать о сестре?

Порой, оправдывая себя, он думал, что вокруг столько всяческой неправильности, что все ему будет прощено обстоятельствами. Кто взыщет? Среди войны, которая все спишет.

Но Воронцов знал, кто.

Пуля снизилась над правым берегом, куда переправились небольшие подразделения наступавших частей, пролетела над оврагом, где торопливо окапывались бойцы в мокрых гимнастерках и шинелях. Одежда парила на их спинах. Пуля хотела ударить хотя бы в одну из них. Давно она этого не делала, но передумала. Метнулась вдоль реки вверх. Там все еще шел бой. Он продолжался несколько часов и вымотал обе стороны. Увидела, как по лугу ползла группа русских. Видимо, разведка, решила она. Их поджидали два немца. Они засели за поваленной ольхой, приготовили пулемет. Один уже взялся за рукоятку и плотно прижал к плечу приклад. Второй, втянув в плечи голову, держал на ладонях ленту с маслянисто поблескивающими патронами, И в тот самый момент, когда первый номер, уже держа русских на мушке, готов был нажать на спуск, пуля пробила ему полевую кепи и вышла в затылок. Пуля не любила раненых. Всю ночь она носилась над плацдармом, отбитым штрафным батальоном, над взорванным мостом, над небольшим городком, а когда забрезжил рассвет, и река окуталась туманом, вернулась назад, к тому оврагу на правом берегу, напротив которого высовывался из воды остров. Ее тонкое чутье подсказывало, что именно там затевается главный пир нового дня.

Глава девятая

Над Днепром стоял туман. Казалось, что в такой вязкой мути не только птица, но и пуля не пролетит, запутается в серых, смешанных с остатками предутренних сумерек космах и обессиленно упадет в черные глухие воды могучей реки. Но уже в следующее мгновение эти фантастические размышления Кондратия Герасимовича Нелюбина оказались опровергнуты самой реальностью произошедшего.

Он лежал на краю оврага и смотрел в бинокль на немецкую траншею правее Днепра. Часть ее, примыкавшую к оврагу, немцы бросили, забаррикадив на изгибе мешками с песком. Установили пулемет и сейчас с той позиции, видать, тоже обшаривали в бинокль обрез оврага. Своим появлением здесь Седьмая рота задала им хорошую задачу. В какое-то мгновение Кондратий Герасимович оторвался от бинокля и увидел, как из тумана скользнула вверх небольшая птица. Она легко поднялась к неподвижной стене деревьев, благодаря которым овраг немного даже возвышался над окрестностью. Птица уселась на ветку крайнего дуба, качнула ее, перепорхнула на другую. Тотчас вслед на нее из тумана прилетела еще одна. Это была парочка дроздов, припозднившихся в здешних местах, но, видать, уже приготовившихся к отлету. А может, они уже и летели на юг, перебирались вдоль реки, каждый день по несколько десятков километров — вниз, вниз. Так и долетят до теплого моря и земли, где никогда не бывает ни снега, ни морозов, где полно еды и спать можно без гнезда, просто на ветке. Эти мысли Нелюбина прервала пулеметная очередь из немецкой траншеи. Трасса прошла значительно выше обреза оврага, где окопались бойцы и почти все пулеметные расчеты. Потому что если их начнут выкуривать из оврага, то подкатятся именно отсюда. Верх оврага они заминировали. Закрыли двумя отделениями. А со стороны города местность болотистая, негодная для маневра. Там дежурил пулемет и часть стрелков.

Вторая очередь, как и следовало предполагать, легла точнее. Слава богу, никого не задело. Голову под нее никто не подставил. Метрах в двадцати, в неглубоком отроге оврага, где еще с вечера окопались бронебойщики и двое бойцов прикрытия, устраивали свой наблюдательный пункт артиллеристы. Видать, неосторожно двигались или шумнули. Вот и получили в качестве предупреждения на будущее.

Но пулеметчик тут же дал несколько коротких очередей вниз, в клубящуюся гущу непроницаемого тумана.

Дрозды сразу заорали всполошенно и юркнули в овраг. И они научились спасаться на войне. Не хуже моих бойцов, подумал Нелюбин, уже понимая, что в ближайшие часы вот так, неспешно, с посторонними раздумьями, зачастую вовсе и не связанными с войной, взглянуть на мир ему уже не удастся.

Немец бил прицельно, теперь уже длинными очередями. Но видеть там, в клубящейся непроницаемой пелене, он ничего не мог. Значит, стрелял на звук. Тут же послышались команды. Немцы переполошились. Заработали еще два пулемета. В стороне деревни затахтели сразу несколько моторов. Захлопали борта машин.

— Началось. — И Нелюбин теперь уже и сам слышал плеск и приглушенный, придавленный туманом шорох внизу, в стороне острова как будто по реке шли льдины, гудя и сталкиваясь, шуршали осыпающимися краями, а вода со всех сторон омывала их, наплывала и снова стекала вниз.

Вот туда, в этот невидимый ледоход, и уходили разноцветные трассеры, которых с каждым мгновением на обрыве становилось все больше и больше. Похоже, что немцы вводили в бой все, что имели.

— Емельянов! — позвал Нелюбин наводчика. — А ну-ка, голубь мой, дай ребятам прицел. Вон, видишь, тех пулеметчиков. Давай-ка их, по одному. Да попусту особо не пуляйте. Мины еще и самим понадобятся.

Тревожно, эх, тревожно на душе стало у Кондратия Герасимовича. Переправа уже началась. Немцы открыли пулеметный огонь. Сейчас минометы подключат. А наши «боги войны» все что-то наводят, копошатся... Уже бы засыпать их там, на обрыве, тяжелыми снарядами надобно. Чтобы головы не смели поднять. Он приказал связному быстро бежать к артиллеристам, поторопить их. Но тут же понял, что торопить капитана — дело пустое. Что ж он, сам не соображает, что надо делать? Но связной уже ушел. И вскоре вернулся. Коротко доложил:

— Сейчас начнут.

Первая серия снарядов со свистящим прерывистым шелестом, будто прорываясь через плотное пространство туго сжатого воздуха, пролетела в сторону деревни. Полыхнули взрывы фугасных зарядов. Вторая легла ближе, круша какие-то постройки, выкорчевывая из земли куски бревен и жердей.

— Блиндажи ихние полетели, — крикнул, восхищенный силой огня гаубиц калибра сто пятьдесят два наводчик Емельянов.

Полоса взрывов медленно двигалась к первой траншее, откуда продолжали стрелять пулеметы. Через несколько минут берег потонул в черном дыму и смраде. Пулеметы замолчали. Затем снаряды начали распахивать берег правее и глубже. Загорелась деревня. Дым пожара, словно в трубу, потянуло оврагом, к реке. В деревне и по всему берегу, среди траншей и разрушенных блиндажей метались немцы. Такого огневого налета они, конечно же, не ожидали.

— Что ж вы раньше нам так не помогали, — вырвалось неволью у Кондратия Герасимовича.

Но это было только началом боя. Каким бы сокрушительным ни оказывался удар артиллерии, немцы вскоре приходили в себя, оживали их огневые, которые погода производили ответный налет, а пехота, подтянув резервы и перегруппировавшись, опасно контратаковала. Нелюбин понимал, что неприятности стоит ждать из глубины обороны противника. И вскоре он увидел колонну грузовиков, осторожно пробирающуюся из-за перелеска, мимо деревни, к берегу, к первой линии окопов. Он тут же схватил с бруствера ППШ и побежал по верхней стежке к позиции крупнокалиберного пулемета. Как чувствовал, распределяя по окружности обороны огневые средства, что именно оттуда, со стороны деревни, немцы будут подводить резервы. Дорога-то — там.

— Овсянников! — крикнул он, пробегая мимо позиции бронебойщиков. — Видишь машины? Бей по моторам!

Когда Нелюбин подбежал к пулеметчикам, старший сержант Веденеев и его второй номер уже подняли со дна окопа ДШК, заправляли ленту и подчищали лопатой нарушенный взрывом бруствер.

— Веденеев! — закричал он. — Жарь, пока они в куче! Прямо по машинам бей!

ДШК загремел так, что по оврагу во все стороны заметалось эхо.

— Слепцов! — приказал он вестовому. — Беги к минометчикам! Пусть кинут по

десятку мин по машинам!

Но тут загудело над деревьями, мелькнули в просветах неба угловатые тела «лаптежников».

— Воздух! — пронеслось вдоль стрелковых ячеек.

Веденеев сделал еще одну прицельную очередь, добил ленту и крикнул второму номеру:

— Убираем! Шевелись!

Пулеметчики схватили дымящийся и пахнущий горелой смазкой тяжелый пулемет и поставили его на дно окопа.

— Подожди! Загорится! — И Веденеев отбросил в сторону промасленную старенькую трофейную плащ-накидку, которую второй номер тут же набросил на ДШК. — Пускай немного остынет.

— Ты что, Веденеев? Почему прекратил огонь? — Нелюбин почувствовал, как у него зло запрыгали губы.

— Перегрел я его, — оправдывался Веденеев, оглядываясь в небо. — Видишь? Перегрел!

— Ты, Веденеев, сейчас, ектыть, своей жопой ствол охлаждать будешь! Понял?! Я приказываю продолжать огонь!

— Сейчас, товарищ старший лейтенант, — засуетился Веденеев. — Сейчас.

— Повтори приказ! — рявкнул Нелюбин, не узнавая ни своего голоса, ни интонации.

— Есть продолжить огонь! — отозвался пулеметчик, толкая в спину своего второго номера.

Но стрелять больше не пришлось. Три пары Ю-87 развернулись над рекой, набрали высоту и начали друг за другом, вереницей пикировать на овраг. Еще несколько пар бомбили переправу.

Бойцы сразу попрятались в ячейках. Счастье выпало тому, кто не спал ночью, не поддавался усталости и успел зарыться в землю основательно.

Бросаясь вниз, пилоты пикировщиков включали сирены, и лежавшим в своих утлых ячейках внизу казалось, что это воют падающие бомбы, что летят они точно в их окоп, потому что летчикам сверху видно все и от них не спрятаться нигде. От «юнкерсов» существовало только два спасения: блокирующий зенитный огонь или истребители. Не раз Нелюбин наблюдал, как наши ЛаГГи трепали в небе «юнкерсов», и 88-х, и 87-х. Но где они, наши ЛаГГи? Да и зенитки все на том берегу. Пытаться отбиться стрелковым оружием — дело дохлое. Людей погубить, и обнаружить свои огневые точки, которые они накроют через минуту, при очередном заходе. Так что самое правильное — лежать в окопе, забиться в угол, молить бога, что и эта бомба пролетит мимо, и ждать, когда «лаптежники» израсходуют боекомплект и горючее. Земля ходила ходуном. С треском и грохотом валились деревья, с корнем вырванные из земли, взрывной волной ломало верхушки и осыпало сучья. Тошнотная гарь тяжелым туманом расплзлась по земле, по склонам и, отыскивая солдатские окопы, затекала в них, рвала легкие, выедала глаза и сводила с ума.

В какое-то мгновение Нелюбин понял, что разрывы смещаются к берегу. Там, внизу, на песчаной косе ухали, расшатывая обрыв, бомбы, сбрасываемые «юнкерсами». Туда, в бескрайнее поле Днепра, ныряли ревущей сиренами вереницей пикировщики. А это означало, что его Седьмую роту, кажись, оставили в покое. Вот только что от нее осталось?

Старший лейтенант поднялся на четвереньки, как оправившийся от испуга зверь, стряхнул со спины комья земли, поправил сползшую на глаза каску и хрипло прокричал в слоистую сизую мглу оврага:

— Эй! Кто живой? Приготовить оружие!

И тут же задвигались и другие. Закашлялись, чертыхаясь и проклиная немецкую и свою авиацию.

— Сталинские соколы! Где они?!

— Ну, товарищ старший лейтенант! — кричал, белея радостным оскалом стиснутых зубов, бронбойщик Овсянников. Его, видать, порядком оглушило. Недалеко, чуть выше, чернела кромка дымящейся воронки, на которую неподвижно смотрел его второй номер. Овсянников был рад, что бомба рухнула на землю с перелетом. — Ну, жив буду, первому же попавшемуся соколу морду набью! Клянусь своим ружьем! — И Овсянников любовно похлопал по прикладу свой ПТРС.

— Сидор! — окликнул Нелюбин минометчиков. Без них им тут, в овраге, среди немцев, беда. — Сороковетова ко мне!

— Ранило его! Перевязывают! — через минуту принесло неутешительную весть из глубины оврага.

Сидора ранило. Целы ли «трубы»? Сидор ранен — дурной знак. Если еще и трубы покорежило...

Пришел замполит, доложил: в третьем и втором взводах шесть человек ранены, трое убиты.

— Игорь Владимирович, бери саперов и скорей расставь их вверху, пускай снова минируют подходы со стороны деревни. Наверняка бомбами раскидало все наши растяжки и мины.

Замполит ушел. Нелюбин посмотрел вслед: хороший ему комиссар достался, это ж надо... Чем-то он напоминал сына, Авдея. То ли ростом, то ли статью. То ли такой же решительностью и бесхитростной прямоотой.

— Раненых — в овраг! К ручью! — отдавал он распоряжения, а сам уже летел по стежке к устью оврага, к Днепру. — Тяжелых! Только тяжелых! Легким оставаться на позициях!

Он бежал вниз и видел, как некоторые бойцы в нерешительности останавливались на полпути, какое-то время смотрели на свои бинты, а потом поворачивались и молча карабкались назад, к оставленным минуту назад ячейкам. Не надо было объяснять, что сейчас для роты главное — устоять. Устоят — выживут. Не устоят... Об этом лучше не думать.

— Ребятюшки... Ребятюшки!.. Это наша земля! Не отдадим мы им этот овраг! Не бойтесь! Ничего не бойтесь! Наши уже на подходе! Хужей смерти ничего не будет. А смерть наполовину мы уже пережили!

По пути к берегу Нелюбин забежал на позицию минометчиков. Случилось то, чего он боялся больше всего. Из трех минометов во время бомбежки уцелел только один, который успели перетащить на запасную позицию. Двое из группы Сороковетова лежали под ольхой. Они уже ни в чем не нуждались. У одного осколком снесло половину лица. Другому оторвало ноги, которые, неестественно развернутые, лежали рядом с телом, видимо, держась на сухожилиях. Тут же, в квадратном просторном ровике, лежали, приткнутые друг к другу, раненые. Среди них Нелюбин не сразу узнал Сороковетова.

— Сидор! Ты что! Сидор... — Нелюбин ощупывал его забинтованную голову. На белой плотной марле уже начали проступать алые подплывы. — Как же я теперь без тебя? А, Сидор?

— Ты меня, Кондрат, прости. — Синие одеревеневшие губы Сороковетова двигались

медленно, с остановками после каждого слова. — Емельянов управится. Я ему приказал... Не отходить от тебя...

— Эх, Сидор, Сидор...

— Отвоевался я, видать, Кондрат. Мин еще порядочно. А ты, Кондрат, все жалел...

Внизу, в устьях, и дальше, по всему побережью гудело, ревело и рвалось так, что, казалось, от частых взрывов вода в Днепре расступилась, и теперь бомбы рвутся уже на дне, расплескивая последний ил и иссушая оставшиеся кое-где редкие бочажины. Нелюбин понял, что его мучит жажда и достал из кармана шинели фляжку. На ходу отхлебнул и сунул обратно.

То, что он через мгновение увидел, повергло его в ужас. Руки задрожали, и Кондратий Герасимович снова потянулся к фляжке.

Днепр как шел своими полными водами вниз, с севера на юг, от истоков к устьям, так и продолжал идти. А вот полка ни на косе, ни на воде Нелюбин не увидел. Под обрывом лежали истерзанные тела примерно двух десятков бойцов. Левее, в устьях оврага, копошились еще столько же. Видимо, это были те, кто смог уйти или уползти из-под обрыва. Большинство из них были ранены или контужены. По реке плыли бревна, опустевшие плоты и плотики, обломки досок. Песчаная коса, изрытая глубокими воронками, уже не походила на ту, прежнюю, переходившую в отмель, по которой Седьмая рота, укрываемая туманом и тишиной, совсем недавно выбиралась на желанный берег. Не увидел Нелюбин и острова, где он оставил пулеметный расчет. «Лаптежники» буквально срыли его тяжелыми бомбами. Погибли, видать, и Москвин, и Фаткуллин. Вот тебе и подмога пришла...

Переправившихся через Днепр первыми встретили бойцы Седьмой роты, окопавшиеся возле самой косы.

Тут же начали перевязывать раненых. Из шестидесяти четырех человек, уцелевших после переправы, способных держать оружие едва набралось двадцать. У многих не оказалось оружия. Либо утонуло, либо потеряли во время бомбежки. Нелюбин тут же приказал раздать винтовки убитых, а также трофеи, захваченные разведчиками. Среди вновь прибывших были два лейтенанта. Нелюбин разделил бойцов на два взвода, назначил лейтенантов взводными и поставил их вторым эшелоном в горловине оврага. Первую атаку он ждал именно оттуда, со стороны деревни, откуда противник мог незаметно подобраться на расстояние pistolетного выстрела.

И действительно, несколько раз там видели разведгруппы, которые старались подойти как можно ближе. Огня они не открывали, пытались вести наблюдение. Так же тихо и скрытно, без единого выстрела, отходили, когда по ним открывали огонь. Потом появился снайпер. После первого же выстрела его срезали из пулемета Горюнова. Этот пулемет сняли с единственного уцелевшего плотика, прибывшего к правому берегу. Разведчики из боевого охранения предположили, что приплыл он с верховьев. Там тоже «лаптежники» разбомбили переправу. Ветер дул с востока, принося с реки все звуки и запахи. Вот и прибывало теперь холодной днепровской волной к изуродованной воронками песчаной косе то труп лошади, то обрывок красноармейской телогрейки, то бревно, изрубленное осколками. Точно так же прибило и дощатый плотик, на котором, свесившись окровавленной головой в бурую прибрежную воду, лежал боец в новенькой шинели с новенькими погонями, видимо, пулеметчик. Разведчики срезали веревочный крепеж и сняли пулемет с порядочным запасом патронов. Плотик с телом незнакомого пулеметчика на всякий случай затащили на песчаный берег.

Но атаковать засевшую в овраге роту немцы не стали. Может, потому, что не видели в ней особой опасности. И то, как они разделались с двумя батальонами стрелкового полка, подтверждало это предположение. А может, какое-то время им, занятым ликвидацией более опасных вклинений, было не до роты Нелюбина.

Полк начал переправу двумя батальонами. Третий, вместе со штабом, тыловыми и хозяйственными обозами уже грузился на плоты в плавнях на левом берегу, когда налетели самолеты.

Обежав овраг и убедившись в том, что для организации круговой обороны сделано все, что можно, старший лейтенант вернулся на НП и вдруг вспомнил, что собирался написать письмо домой. Судя по поступавшим сводкам, северное крыло Западного фронта освободило Вязьму, Рославль, Ельню, Смоленск. А значит, и его родные Нелюбичи, скорее всего, тоже освобождены. Письмо домой он послал давно, еще месяц назад, когда под Рославлем шли бои. Думал так: полежит его треугольник где-нибудь в мешке у почтальона, подождет своего часа, а там, когда местность, указанную в адресе, окончательно очистят от немцев, письмо и пойдет прямым и скорым ходом туда, куда надо. Но ответа не последовало. Рославль, как сообщили вскоре, освободили 25 сентября. Прошел уже почти месяц, но из Нелюбичей никто ему не ответил. Может, угнали народ на запад? Тогда надо ждать. Кто-нибудь да появится. Прочитают и его весточку. И отпишут. Не свои, так соседи. Сообщат, что да как. Надо ждать. В полевой сумке у Нелюбина лежало письмо от Сашки Воронцова. Не забыл старика Курсант! А он ему — все никак.

Нелюбин сел под деревом, примостил на коленке полевую сумку, достал тетрадь и карандаш и начал писать. Получилось быстро. В конце Кондратий Герасимович добавил такие строки:

«А если что со мной случится непредвиденное, вроде гибели на фронте борьбы с немецким фашизмом, то прошу тебя, дорогой мой друг и однополчанин, навестить моих родных и все им обо мне самое лучшее рассказать. О том же, что я не нашел Авдея, никому ни словом не проговорись. Тела его мертвого я не видел. Значит, живой. Если же он живой, расскажи ему, что я его искал. Пусть сынок знает, что я его не бросил. С фронтовым приветом — Кондратий Герасимович Нелюбин. Смерть немецким оккупантам! Да здравствует Красная Армия и наша Советская Родина!»

Последние слова он написал не только для военной цензуры, он так сейчас действительно чувствовал. Слова шли от души.

Быстро сложил листок в треугольник, надписал адрес и сунул письмо за голенище. И бойцы, и трофейщики знают, где убитые хранят последние весточки, подумал он уже успокоенно.

До вечера немцы все же провели несколько атак, стараясь выбить из оврага переправившихся через реку. Вначале кидали мины. Но уцелевшие деревья делали минометный обстрел малоэффективным. Потом подвели полевую гаубицу и начали бить вдоль оврага 150-мм снарядами. Но огонь оказался, во-первых, слепым, а во-вторых, корректировщики-артиллеристы вскоре засекли ее, передали точные координаты, и первым же залпом из-за реки гаубицу разнесло в клочья вместе с расчетом.

Спустя какое-то время, когда немцы затихли, прилетела пара Ил-2. «Горбатые»

вынырнули откуда-то со стороны города. Видимо, там, на плацдарме штрафников, работала основная группа, а сюда, чтобы не оставлять без поддержки и Седьмую роту, направили пару. Их внимание сразу привлекла деревня и участок дороги к лесному массиву, где то и дело сновали грузовики. Через несколько минут там все горело и плавилось.

Бойцы, утром пережившие бомбежку, стиснув зубы, со злорадством следили за тем, как «горбатые» уходят на очередной вираж, как выбирают цель, ныряют к земле, едва не касаясь верхушек деревьев, и как следом за ними растут огненные вспышки и черные султаны взрывов.

— Молодцы, сталинские соколы! — кричал бронбойщик Овсянников. — Прощаю! Дайте им еще! Все прощаю! Дайте еще, братки!

Письмо лежало за голенищем сапога. Старший лейтенант Нелюбин чувствовал его не только лодыжкой, но и всем существом. Теперь он был готов на все и ничего не боялся. Он знал, что если произойдет самое худшее, что случается с солдатом на войне, он не умрет весь. Душа солдата, пока он следует долгу и принятой присяге, бессмертна. Как и слова, и мысли, запечатленные в наспех набросанном письме. И все это полетит за Днепр, чтобы отыскать тех, кто его помнит и любит и к кому он обратил последний зов и надежду.

Глава десятая

Когда они встретились снова, Воронцов внимательно посмотрел в глаза и спросил:

— Анна Витальевна, скажите, Георгий Алексеевич здесь? — И, не дожидаясь ответа и видя, как вздрогнули ее ресницы и напряглись плечи, сказал: — Мне нужно повидаться с ним. Это очень важно.

— Вы для этого приехали на хутор?

— Нет. Я не знал, что он здесь. Вас навестил по просьбе Зины.

Некоторое время женщина стояла неподвижно, выпрямившись, выдерживая взгляд. И сказала:

— Мой муж здесь. Но он не с ними. — Последнее «не с ними» она произнесла так, чтобы все стало понятно.

Воронцов кивнул. Что ж, подумал он с облегчением, исходные определены.

Конечно, Анна Витальевна все поняла. И почему они здесь с Иванком вдвоем, и почему вооружены. Видимо, догадалась, что они напали на след группы Юнкерна. Иначе никак нельзя объяснить столь внезапный приезд, которого никто на хуторе не ждал. Да еще на лошадях, хотя поклажи немного, с винтовками. Что-то или кого-то искали в лесу, а к ним, на хутор, просто заехали. Воронцов передал посылку от Зинаиды.

— Но я должна знать, что вы, Александр, пришли с добрыми намерениями и зла никому не причините. — Она твердо смотрела ему в глаза.

Взгляд завораживал. В нем было больше, чем в словах.

— Я пришел сюда не как солдат, — ответил он.

— Хорошо. Идите в сторону кельи Нила. Вовнутрь не заходите. Стойте возле, пока оттуда не выйдут.

— Георгий Алексеевич знает, что я здесь?

— Знает. Я сказала. И о вас, и об Иванке. — Она помедлила немного. — Он тоже хотел повидаться с вами.

Воронцов ничего не ответил.

Так вот для кого монах ловил рыбу, вот для кого держит нерет почти на середине озера. Рыба к холодам откочевывает от берегов на глубину.

Воронцов шел по тропинке, которую знал, как и все стежки-дорожки родных мест. Вон камень выпирает из песчаной осыпи, он покрыт росой и прилипшими березовыми листьями. На нем любили сидеть Пелагеины сыновья. Особенно когда нагрело полуденное солнце, поднимаясь над соснами. Всем троим места не хватало. Сесть могли только двое, да и то — тесно прижавшись друг к другу. Старший, Прокопий, всегда уступал. На теплый камень садились Федя и Колюшка. А он стоял рядом.

При мысли о них у Воронцова сдавило в груди. Но перед глазами стояла Улита, ее внимательный, настороженный Пелагеин взгляд: а ты кто?

Воронцов дошел до камня, сел и долго смотрел в сторону озера. Ничего он там не видел, кроме серого, свинцового пространства вдаль, ограниченного лесом. День выдался хмурый, солнце пряталось за сплошной плотной пеленой низких облаков. В такую погоду пехота в окопах просыпается с мыслью, что сегодня бомбить не будут. Мысли путались, цеплялись одна за другую, так что невозможно было их выстроить в ряд, придать хоть какую-то стройность.

Георгий Алексеевич здесь. Но Анна Витальевна сказала, что он не с ними. Что это означает? Неужели Радовский пришел к сыну и жене? Дезертировал, бросил все и пришел? Так просто? Ведь и он, Санька Воронцов, после госпиталя поехал домой, в Подлесное, к матери и сестрам, а где оказался? Много, очень много объединяло Воронцова и Радовского. И думать об этом было жутко. Воронцов понимал, что теперь, когда фронт значительно передвинулся на запад и освобождены многие районы, в руки Смерша могут попасть документы, что случилось после побега из госпиталя. Ведь и он служил в самообороне. Получил винтовку и форму. И даже участвовал в операции по блокированию партизан. В любой момент какой-нибудь досужий оперуполномоченный, листая текущие документы, может наткнуться на его фамилию и смекнуть: а не тот ли это лейтенант?

Он встал. Осмотрелся. Винтовку оставил на хуторе, карман оттягивал «вальтер». Шагнув в сторону кладбища. Тропинка вильнула. И, глядя на заросли черничника, он сразу вспомнил, как на этом самом месте прощался с Зинаидой. Нет, он уже не сможет жить без нее. Просто не сможет.

С этим, внезапно поглотившим его чувством, он и подошел к могилке Пелагеи. Положил на песчаный холмик букет золотых кленовых листьев, еще ярких, сияющих, не тронутых тленом. Листья рассыпались.

Кладбище было небольшим, всего несколько могил. Но это кладбище. И человек, пришедший сюда, ощущал себя иначе. Воронцов опустился на колени, погладил редкие стебли черничника, который уже начал затягивать могильный холмик, и сказал:

— Здравствуй, Пелагея Петровна, голубушка ты моя. Если буду жив, детей твоих не оставлю. — И уже про себя, чувствуя, что перехватывает горло, но зная, что не только слова, но и мысли его она услышит, подумал: «Лежи спокойно. А мне надо идти».

В сосняке лежал реденький туман, будто незримые рыбаки вытащили из озера сети и разбросали повсюду на просушку. С каждым мгновением они становились все более прозрачными и невесомыми, как будто истончались. И когда Воронцов подошел к келье Нила и огляделся вокруг, стараясь услышать в тишине осеннего леса еще чье-то присутствие, то услышал только стук собственного сердца и заметил, что легкая пелена утреннего тумана исчезла. Рыбацкие сети просохли. Значит, в мире наступал уже день. Там, на западе, в окопах, его взвод приканчивал утреннюю кашу. Наблюдатели докладывали сержантам, что видели и слышали с той стороны. Солдаты чистили оружие. Проверяли снаряжение. Готовили к завтраку котелки и фляжки. Делились табачком. Кондратий Герасимович, должно быть, уже на Днепре... А на востоке, в Прудках, тоже уже началась жизнь очередного дня.

Перед глазами Воронцова вспыхнул бирюзовый взгляд Зинаиды. Не время было думать об этом, но душа оживала, вздрагивала и замирала от новых и новых мыслей и просила не губить крохотного, покуда еще беспомощного чувства, что народилось в нем и — он на это надеялся — в ней. Сегодня во время разговора с Анной Витальевной произошла неловкая заминка, которая подтвердила многие сомнения: женщина вдруг спросила о Зинаиде и внимательно посмотрела на него. Он знал, так смотрят, когда хотят знать самую суть. Что он ответил, вспомнить теперь уже трудно. Анна Витальевна, конечно же, все поняла. И Воронцову показалось, что ответ ее вполне удовлетворил. Она мягко улыбнулась, и напряжение спало. В том-то и дело, что их всех: и его, Воронцова, и Радовского, и Иванка, и Зинаиду, и детей, и всех хуторских объединяет не только война, но и некие отношения,

которые уже сложились, уже существуют и их нельзя разорвать, потому что вместе с ними рухнет и нечто большее.

— Заходи, заходи, коли с добром на порог, — услышал он голос монаха.

Нил стоял рядом с сосной, на открытом пространстве, освещенном первым солнечным лучом, пробившим плотную пелену тумана. Он какое-то время стоял неподвижно, словно в раздумье, с чем мог пожаловать человек, который появляется здесь, на хуторе и на кладбище время от времени, а затем исчезает надолго. Нил знал, кого навещает он в березах на кладбище. И Воронцов знал историю Нила. Во всяком случае, больше, чем кто-либо на хуторе.

Никогда невозможно увидеть его первым, подумал о монахе Воронцов и шагнул к келье. Дверь оказалась приоткрытой. Никогда прежде Нил не приглашал. Всегда встречались в лесу или на озере. Да и разговаривали коротко, перекидывались словом-другим и расходились каждый по своим делам.

В жилище Нила царил полумрак. В углу белела печь, грубо выложенная из крупных валунов, обмазанных глиной. От печи веяло смолистым теплом. Пахло старым деревом и травами, которые были развешаны повсюду — разноцветные пучки, перехваченные шелковыми нитками от парашютных строп, занимали почти все пространство. Потолок низкий, как в бане, и Воронцов наклонился, чтобы не удариться головой о матицу, под которую в два ряда были набраны струганные топором плахи потолочин. В углу, под небольшой, величиной с книжку, старой иконой, горела лампадка. Огонек встрепенулся, когда Воронцов открыл дверь. Краем глаза заметил, что Нил остался стоять под сосной, внимательно глядя вслед. И в тот момент, когда он вдруг понял, что монах намеренно остался там, за порогом, из темного угла окликнул голос Радовского:

— Здравствуй, Курсант. Ты уже лейтенант?

Воронцов машинально сунул руку в карман шинели.

— Сюда не приходят с оружием, — сказал Радовский и вышел из темноты на освещенную часть кельи.

— Здравствуйте, Георгий Алексеевич. Давно не виделись. Отвык от вашего голоса.

— Ты уже лейтенант? — снова спросил Радовский. — Погоны... Тебе идет военная форма, особенно в погонах. В восемнадцатом, когда я бежал на Дон и вступил в Добровольческую армию, мне было примерно столько же, сколько теперь тебе. И погоны были примерно того же достоинства. Но у тебя перспектива гораздо лучшая. Красная Армия наступает на всех фронтах. Немцы уходят.

— А что задержало здесь вас? — спросил Воронцов, чтобы сразу в разговоре все расставить по местам.

Радовский смотрел в окно. Привычка, перешедшая от отца. Он не торопился с ответом. Ведь это и был главный вопрос, которого он ждал от Воронцова.

— Меня задержала здесь родина. Вот такая история, Александр Григорьевич.

— Вы один?

— Нет.

— С группой Юнкерна?

Радовский, конечно же, не ожидал такой осведомленности от человека, в общем-то, случайно заехавшего сюда по пути из госпиталя домой. Но смутило его другое.

— Курсант, давай договоримся. Вопросами терзать меня не стоит. Не следует и относиться как к изменнику. Я всегда воевал за Россию. И ушел из вермахта только потому,

что немцы начали воевать не с большевизмом, а с русским народом. Вы можете считать мой поступок дезертирством. Как угодно. Мне уже все равно. Нынешние обстоятельства постараюсь изложить кратко и внятно. Итак, Александр Григорьевич, готов ли ты выслушать историю старого русского солдата, который некогда присягнул на верность Царю и Отечеству, но ни православной Веры, ни Царя, ни Отечества так и не смог защитить?

Они просидели в келье до полудня. То, что услышал Воронцов, больше походило на повесть из книг, отпечатанных дореформенными шрифтами и одетыми в массивные переплеты. Однажды он видел такие в шкафу у институтской подруги, когда та пригласила его с однокурсниками на чай. Перед Воронцовым сидел усталый человек, который потерял почти все, но сохранил веру, родину и семью. Ни с одним, ни с другим, ни с третьим он не мог расстаться. И потому оказался здесь.

— Что касается Юнкерна, то он возглавляет одну из абвергрупп Schwarz Nebel — «Черный туман»^[7]. Полевая контрразведка. Так официально. В действительности — диверсионный отряд особого назначения. А по сути дела тот же ост-батальон, только с особыми задачами и полномочиями. Год назад мне было поручено сформировать нечто подобное. И я подготовил для «Черного тумана» особую группу. В основном из военнопленных рославльского, издешковского и вяземского лагерей. Вошли в него и казаки сотни атамана Щербакова. Насколько я понял, тебе пришлось иметь дело с ними.

— Да, в первую зиму. Здесь. В Прудках и в лесу.

— Часть из них ушли с фон Рентельном. Этот — из прибалтийских немцев. Человек непростой, профессиональный военный, фанатично ненавидит большевиков. Предан вермахту. Сформировал казачью сотню, с которой отличился в лесах севернее Вязьмы при блокировании партизанских районов. В основном действовал в ближнем тылу Девятой полевой армии. Сейчас свою сотню он развертывает в батальон. Ушел вместе с немцами на Минск. С Пятой танковой. Здесь оставлен Юнкерн. С ним небольшая группа. В том числе бывшие полицейские. Надежные и хорошо знающие здешние места. Вместе с Юнкерном в составе группы и наш общий друг, твой и мой бывший начштаба Турчин.

— Владимир Максимович здесь?

— Здесь.

— Пути войны извилисты и замысловаты.

— Уж очень извилисты.

— А разве у тебя, Курсант, все складывается ладно? Ты, кажется, и в плену побывал?

— Побывал.

— Знаю, знаю. Зинаида тебя спасла. Так?

— Так.

— Твое счастье. Женщина тебя спасла. Не дошел ты до Рославля. Не знаешь, что такое рославльский концлагерь. Я оттуда многих вызволил. Окажись там ты, может, и встретились бы. На построении. Или в кабинете коменданта лагеря.

— Я там не оказался. Не дошел.

— Да. К счастью. Иногда за колючей проволокой люди сильно изменяются. Порой буквально перерождаются.

— Из плена можно бежать.

— Можно. Но ты ведь не бежал.

— Я не мог. Не было случая. Потом не стало сил.

— Вот-вот. Там, за колючкой, человек медленно, постепенно становится другим.

Вначале доходягой. Потом меняется психика. И вот из этих, других, формируются различные подразделения. Вспомогательная полиция. Самоохрана. Зондеркоманды. Казачьи сотни. И, в том числе, абвергруппы для «Черного тумана». Ну, а мою историю я тебе уже рассказал. Что касается Юнкерна, то он имеет какую-то задачу на аэродроме в Шайковке. Какую именно, сказать не могу. Каждая группа имеет свою задачу и действует автономно. Знаю, что туда, на аэродром на днях перебазировались бомбардировщики дальнего действия Ил-4. Полк или даже дивизия. Скорее всего, цель группы Юнкерна — они. Нашей задачей было тоже ведение наблюдения за аэродромом. Но — никаких радикальных задач мы не имели, никаких диверсий или чего-то подобного. Мы занимались только разведкой.

Две недели разведгруппа Радовского бродила по окрестным лесам, пытаясь подойти к Шайковке и аэродрому, на котором базировались самолеты 1-й Воздушной армии. Задачей было определить количество и типы самолетов, интенсивность полетов, расположение резервуаров горюче-смазочных материалов и казарм летчиков.

Во время высадки исчез радист вместе с передатчиком и комплектом запасных батарей. Поиски результата не дали. Недалеко лежало огромное болото. Именно туда сносило ветром парашюты. Радист покидал самолет последним, почти над болотом. Прыгали с немецкими парашютами, основным достоинством которых было то, что можно не бояться небольших высот. А недостатком, что во время снижения не регулировалась скорость спуска и место приземления. Более того, при его использовании все снаряжение и даже оружие приземлялось отдельно, в специальном контейнере. Именно такой контейнер нашел однажды возле Зайцевой горы Воронцов.

Во время десантирования группы Радовского исчез не только радист, но и парашют с контейнером. Ни парашюта, ни других следов его приземления не нашли. Не слышно было ни стрельбы, ни погони. Тихая октябрьская ночь будто поглотила радиста.

Но потеря радиопередатчика не означала провала операции. Радовский принял решение подойти к аэродрому двумя группами, в течение десяти дней провести наблюдение, затем встретиться в заданном районе, свести данные, размножить их для каждого разведчика, после чего парами возвращаться назад, через линию фронта под видом красноармейцев, выписанных из госпиталей. Для подтверждения полной достоверности госпитальной легенды каждому за месяц до проведения операции на мягких тканях в лазарете хирург сделал надрезы и наложил швы. Радовский и радист избежали операции, потому что накануне при переходе линии фронта получили осколочные ранения и попали в полевой лазарет.

Первую группу повел он сам. Вторую — подпоручик Сайков, бывший младший лейтенант и командир стрелкового взвода. Как и многих других, Радовский вытащил его из рославльского концлагеря. В первое время Сайков усиленно занимался в школе подготовки диверсантов, затем успешно прошел специальное обучение по курсу «Методы наблюдения и сбора разведанных». Радовский считал его одним из лучших курсантов. Но после одной из операций Сайков заметно затосковал. Ходили на Варшавское шоссе в район Юхнова. Неделю наблюдали за дорогой и передвижением войск. Жили на лесном хуторе в доме лесника. Сайков сошелся с его дочерью.

Спустя десять дней Радовский пришел на опушку леса, где должна была произойти встреча с группой Сайкова. Но их встретили автоматчики из Смерша. Радовский первым открыл огонь из ППШ. На всякий случай, выходя к месту сбора, он изменил маршрут движения. К одинокой сосне с сухой верхушкой они вышли не вдоль опушки, как условились

вначале, а со стороны леса, оврагом. Вот туда, в заросший молодым липником и бересклетом овраг они и бросились, когда услышали крики смершевцев и первые выстрелы. Тут же заработал ручной пулемет, и трое разведчиков, кто замертво, кто с перебитой ногой, упали на землю. А он, кувыряясь по склону оврага, бросая тело из стороны в сторону, уходил от пуль, от треска кустарника под ногами бегущих от опушки смершевцев. Стреляли по ногам. Старались захватить живыми.

Два дня просидел в лесу, во мхах, соорудив шалаш и лежанку. Операция провалилась. Но блокнот с двенадцатью исписанными страницами лежал в вещмешке, и он все еще оставлял открытым путь назад, через линию фронта, в штаб «Черного тумана». Радовский знал, что, если он вернется с этими двенадцатью страничками, исписанными столбиками цифр и шифров, если предъявит подробный доклад, его встретят как героя. И однажды, проснувшись на рассвете, он тщательно побрился, собрал вещмешок, переделся в красноармейскую форму с сержантскими погонами и пошел в сторону гудящего шоссе. Через час с небольшим вышел к деревне. В вещмешке было пусто. Последние сутки кормился вареными грибами, от которых тянуло в животе. От одной мысли об очередном котелке с грибным варевом начинало подташнивать. Правда, оставалась еще банка рыбных консервов — американские сардины. Но эта банка лежала в его «сидоре» не как продукт, а как тот необходимый реквизит, который должен помочь ему, режиссеру и актеру одновременно, сделать спектакль полноценным, а предстоящую его постановку удачной. И, повинаясь чувству голода, прежде чем выйти на шоссе, чтобы попытаться остановить попутку в сторону фронта, он повернул к деревне.

— Помнишь Галустяна? — Радовский снова отвернулся к окну и долго смотрел на освещенную, буквально заполненную солнцем полосу воды, колеблемую легким ветром. — Там, под Вязьмой, весной сорок второго...^[8] Работал вначале при медсанбате Сто шестидесятой стрелковой дивизии, потом Профессор его перевел в санитарное подразделение, которое обслуживало непосредственно штаб Тридцать третьей армии.

— Профессор уже тогда работал на вас?

— Да. А Галустян под кличкой Гордон был связником между группой захвата и им. Основная информация поступала от Профессора. Это был классический и редкий агент. Чтс было потом, в том лесу, когда нас окружили автоматчики из «Бранденбурга», ты знаешь. А Галустян-Гордон потом работал в моей боевой группе. Исчез во время провала группы Самарина^[9]. Поручик Самарин удачно работал на диверсиях. Бывший старший лейтенант из кавкорпуса генерала Белова. Взрывы мостов, складов, других важных объектов. А тут — провал. Какое-то время его радиопередатчик выходил на связь, давал условный сигнал работы под контролем. Потом умолк. Послали контрольную проверку. В группе проверяющих был и он, Гордон-Галустян. Группа тоже не вернулась. Все это совпало с началом активности на фронте. Поэтому исчезновение групп списали без особых последствий. Пропали и пропали... И вот в той деревеньке у Варшавского шоссе я и встретил бывшего своего курсанта и связника Гордона-Галустяна. Видишь, Курсант, какие извилистые пути у войны...

— Дед Евсей, бывало, говорил: кривую стрелу бог правит.

— Хорошая пословица. Кривую стрелу... Но не такую, как Гордон. — Радовский оторвал пристальный взгляд от окна и некоторое время молча смотрел в глаза Воронцову. Покачал головой и сказал: — И не такую, как я. Впрочем, бог выправит любую. Только бог. Только на него и надежда. — И Радовский оглянулся на огонек зажженной глиняной

лампадки.

Солнце ушло за сосны, и озеро сразу обрело стальной отлив. Теперь оно казалось будто вогнутым, воды словно отхлынули. Зато яснее и глубже проступили дали. Солнце перекинулось на другую сторону озера, и там, на отлогом берегу, среди изумрудно-зеленой отавы засияли белые стволы берез. Неужели где-то идет война, глядя в тесное оконце кельи, думал Воронцов. Какая жестокая бессмыслица! А где-то в Красном лесу, совсем неподалеку, затаилась диверсионная группа Юнкерна.

— Я сразу его узнал. — Радовский прислушался к звукам, доносившимся со стороны озера. Но, увидев Нила, который тащил по просеке, вытоптанной в зарослях камышей, лодку, успокоился и продолжил: — Он тоже. Я понял это по мгновенному испугу. Я знал по школе: человек он хладнокровный, расчетливый, смелый, но глаза его выдавали. Особенно в первые мгновения. Так бывает со многими. Потом он понес какую-то чушь. Начался театр. Стало даже смешно. Вышла женщина и повела его в дом. Там, по всей вероятности, он и жил все это время. Она мне все рассказала. Должно быть, подумала, что я из Смерша. Даты совпадали. Гордон появился в деревне через несколько дней после высадки группы проверки. Два дня я прожил у них. Пытался с ним заговорить. Никакой реакции. Потеря памяти. Амнезия.

— При амнезии у человека стирается из памяти прошлое. Он забывает кто он, откуда пришел, имя, близких. Но настоящее он воспринимает как вполне нормальный человек. У меня во взводе был такой случай. После налета «лаптежников» бойцы привели второго номера пулеметного расчета. Но у него буквально через неделю все прошло.

— А этот выглядел полным идиотом. Конечно, переигрывал. Но на второй день он исчез. Хозяйка рыдала. Я понял, что это была уже не игра, и поспешил тоже уйти. Через несколько дней пришел сюда. На хуторе стараюсь не показываться. Аня и Алеша приходят сюда. Этого мне достаточно. А с Юнкерном встретились в лесу. Ночью я набрел на их лагерь. Обошел посты и окликнул Турчина. Я узнал его по голосу. Это было ошибкой. Я подумал, что Турчина направили на поиски пропавшей разведгруппы. Оказалось все гораздо сложнее. Владимир Максимович сразу понял, куда я иду. Юнкерн тоже знает о существовании хутора. Он помечен на его карте. Но обнаруживать себя не хочет. А Турчин сделал вид, что ничего не знает о моих связях с хутором.

— Если они проберутся к аэродрому и что-нибудь там взорвут или хотя бы попадутся, Смерш начнет прочесывать лес. И набредет на хутор.

— В том-то и дело.

— Тогда надо уходить. Вам и Анне Витальевне с сыном.

— Куда? В лесу у нас появится сразу два опасных врага: и Смерш, и Юнкерн. Так что Ане с Алешей лучше отсиживаться на хуторе. А мне там не появляться. Но этот покой висит, как ты понимаешь, на волоске.

— Может, Алешу увести в деревню?

Воронцов буквально почувствовал, как вздрогнули плечи Радовского.

— Я должен сохранить сына во что бы то ни стало. — Он посмотрел в глаза Воронцову. — Любой ценой. Понимаешь?

— Тогда, Георгий Алексеевич, Алешу действительно лучше отправить в Прудки.

— Алеша, Аня, да родительские могилы на старом сельском кладбище... Больше у меня ничего нет. Родина? Как будто и есть. Но ее и нет. У меня — нет. Потому что кто я здесь? Вот у тебя, Курсант, родина есть. И ты твердо знаешь, кто ты здесь, на своей земле. Потому и

дрался на фронте — за правое дело. Так ведь? Наше дело правое... Враг будет разбит... Победа будет за нами... Это мощные слова. Они наполнены народным смыслом. В них сила и напряжение всей русской земли. Ни Геббельс, ни Штрикфельд, ни Власов, ни кто-либо из наших, я имею в виду функционеров и идеологов белого дела, так и не смог изречь ничего подобного.

— А скажите, Георгий Алексеевич, в группе Юнкерна есть человек по имени Кличеня?

— Есть. Очень преданный ему сукин сын.

— Из бывших полицейских?

— Да, из подразделения вспомогательной полиции порядка.

— Его узнал Иванок. Во время облавы в Прудках именно Кличеня тащил к транспортам сестру Иванка. Он это видел.

— Что, парень пылает ненавистью?

— Представьте себе, именно он уговорил меня предпринять эту поездку на хутор. И вот... В лесу, на дороге, мы обнаружили противопехотную мину. Поставлена недавно.

— Юнкерну не нужно, чтобы местные ходили по лесу.

— Мы так и поняли. Так что же будем делать?

— Вначале надо отправить в безопасное место Аню с сыном.

— Самое безопасное место — Прудки.

— А если их выдадут Смерщю?

— Не выдадут. В Прудках это не принято.

— Что значит, не принято? Там ведь тоже живут советские люди.

— Да, советские. Но Анну Витальевну и Алешу никто не выдаст. Будут жить у Бороницыных. Как беженцы. В Прудках две семьи таких. Одна — из Гомеля, другая откуда-то из-под Минска. Пока никто их не трогает. Даже не поинтересовались, кто они и откуда.

— Это пока... Вот так, на своей земле, на птичьих правах... Какая ж это родина?

— А какие ж вы ей, Георгий Алексеевич, дети?

Взгляды их встретились. Воронцов смотрел как на врага перед тем, как схватиться. Точно так же глядел и Радовский. Но то, что их сблизало, было все же сильнее этой внезапной вспышки взаимных претензий.

Пуля калибра 7,92 сделала облет правого берега. На огромном пространстве, на десятки километров вдоль Днепра, шла ожесточенная битва противоборствующих армий. Она снизилась к воде, пробила несколько круглых касок, колыхавшихся над водой и в азарте, ударившись о сырое бревно плота, взмыла вверх, откуда стреляли пулеметчики. Убитых наповал пловцов тут же поглотил Днепр. А она рванула френч чуть ниже нашивки за тяжелое ранение первому попавшемуся стрелку, сидевшему в ячейке. К нему тут же подбежал санитар. Но перевязывать не стал. Двумя руками ухватил за портупею и оттащил обмякшее тело в отвод траншеи, где уже лежали, сваленные штабелем, несколько окровавленных тел. Оберефрейтор с рунами СС в петлицах и перевязанной головой торопливо расстегивал пуговицы френчей, отламывал половинки жетонов и совал в нагрудный карман.

Глава одиннадцатая

Удивительное дело, через несколько минут после бомбежки заработала телефонная связь со штабом полка. Из оврага прибежал запыхавшийся рядовой и доложил:

— Товарищ старший лейтенант, вас к телефону.

— К какому телефону? Связь наладили?

— Так точно! Сам батя вызывает.

Нелюбин кубарем скатился в овраг, схватил телефонную трубку и начал торопливо докладывать.

— Кондратий Герасимович, дорогой мой ротный, — услышал вдруг Нелюбин хриплый, осевший голос полковника Колчина, — ты скажи мне: сколько человек переправилось из батальонов?

— Шестьдесят четыре, товарищ полковник! Двое померли. Остальных перевязали. Не бинтов не хватает. Двадцать человек, при двух лейтенантах, остались в строю. Остальные лежат в бинтах, ждут эвакуации. Семеро тяжелые. Их надо скорее в госпиталь, а то помрут.

Нелюбин умолк. Не по-военному пространен оказался доклад. Но и командир полка спрашивал не по уставу. Снова вдалеке, сквозь хрипы ненадежной связи, послышался его голос:

— До ночи потерпи, ротный. Ночью вас сменим. А тебя, Кондратий Герасимович, будем представлять к званию Героя Советского Союза.

— Это дело ваше, товарищ полковник. А нам бы сюда бинтов побольше... — И Нелюбин растерянно положил на рычаг вмиг отяжелевшую трубку.

Он вдруг понял, что до вечера, даже до ночи, как сказал полковник Колчин, продержаться будет очень тяжело. Если вообще возможно — с израненной ротой, с ограниченным боезапасом. Одна надежда на артиллеристов. И Нелюбин, по-бабьи подхватив полы шинели, побежал вверх, к обрыву, где оборудовали НП артиллеристы.

Нелюбин поднялся к окопу артиллеристов и первым делом выглянул через бруствер — надо было осмотреться, понять, что происходит в деревне и на немецких позициях вдоль берега. Немцы молчали. Но продолжали усиленно копошиться у дороги. «Самое время ударить по нашему оврагу, воспользоваться успешным налетом пикировщиков», — подумал Кондратий Герасимович и спрятал за пазуху бинокль. Артиллеристы будто и не видели его, сидели в окопе и переговаривались, таскали ножами из глубокой банки куски тушенки.

— Была бы связь с левым берегом, дело пошло бы куда вернее, — сказал один из них.

— Есть, ребяташки. Наладили. Я только что с полковником Колчиным разговаривал, — тут же вмешался в разговор Нелюбин.

— Давай сюда своего связиста, старлей! Давай живее!

— Что, ребяташки, значит, подержимся еще?

— Обязательно.

— Тогда вот куда киньте — на деревню. И на березняк, что правее дороги. Они оттуда резервы подводят и в березняке накапливаются. — И Нелюбин протянул капитану бинокль, но тот отстранил его руку.

— Видим, старлей, видим. Сейчас гаубицы несколько залпов дадут по тому березняку. И — беглым по деревне. Чтобы там не вздумали прятаться.

— Только в овраг их не загоните. Нам тут самим места маловато.

— В овраг сам не пускай. — И капитан-артиллерист, отвечая на шутку, в первый раз улыбнулся.

Нелюбин пригляделся к нему: лет тридцати, не больше, одежда с иголки, будто только что со склада. И подумал: видать, штабной. Вот и жметя в окоп при каждом выстреле. Непривычно под пулями. Страшно. А кому тут, на чужом берегу, не страшно? Вон, у связиста руки как дрожат. Хотя воюет в Седьмой с самой Вытебети, со штрафной. Не такое повидал. Но тут — плацдарм. Дело гиблое. Полк застрял. Один батальон от полка остался. Да Седьмая рота. «Лаптежники» и дивизию так расколошматят, если сунется. Потому и не торопится с переправой дивизия. А им тут, ектыть, сиди, судьбы жди... И Нелюбин, чтобы перебить нерадостные размышления, снова достал из-за пазухи бинокль.

— Ты с бруствера слезь, — все тем же глухим голосом сказал капитан-артиллерист. — Снайпер наш бугор пристрелял.

Так вот, значит, почему артиллеристы на карачках ползают по дну окопа. Снайпер появился. Немцы соображают быстро. Раз так прицельно лупят пушки с того берега, значит, огонь кто-то корректирует. Вот и отрядили стрелка, чтобы он отыскал наблюдателя и одним точным выстрелом сбил прицел артиллеристов. Эх, ектыть, Сидор меня подвел как, подумал Нелюбин. Как ты себя, Сидор, подвел. Но один миномет все же уцелел, и при нем живой и невредимый Емельянов.

Больше книг на сайте — Knigolub.net

— Откуда ж он бьет?

— А хрен его знает. — Капитан-артиллерист возился с аппаратом. — Откуда-то из деревни.

— Сейчас мы его успокоим.

— Только вот что, старлей, перебирайтесь-ка куда-нибудь в другое место. А то сейчас снайпером увлечетесь, наш НП демаскируете. Не хватало нам тут еще парочки «лаптежников».

На замечание капитана-артиллериста Нелюбин не обиделся. На плацдарме все равно командовал он, командир Седьмой роты. А артиллеристам надо делать свое дело. Как без этого? Без их поддержки скovyрнут в Днепр первой же атакой.

Нелюбин пощупал край письма за голенищем. Оно оказалось на месте. Вот и хорошо, подумал успокоенно, вот и ладно, хоть одно надежно...

Внизу, у тропы, где обосновался последний минометный расчет, кого-то перевязывали. Раненый мотал мокрой головой, отпихивал державших его минометчиков.

— Что тут, Емельянов? Кого ранило?

— Да вот, товарищ старший лейтенант, Фаткуллин приплыл! На бревне...

Только теперь Нелюбин увидел немецкий пулемет с концом ленты, обмотанной вокруг дырчатого кожуха ствола.

— Что с ним?

— Осколок тащим, — тут же доложил Емельянов.

— Ну и что? Никак?

— А вон, сами посмотрите.

Осколок косо вошел в предплечье Фаткулина и, по всему видать, сидел прочно.

— Разрезать бы пошире, — сказал санитар. — Тогда бы, может, подцепить можно было бы. Скользкий, не ухватить.

— Куда тут шире? Сосуды порежешь, коновал. Давай попробуй — зубами, — приказал

Нелюбин. — У кого зубы крепкие?

— Да вон, у Емельянова — железные, — подсказал кто-то.

— Давай, минометчик!

Емельянов утер рукавом шинели губы, шаркнул ладонью по небритому подбородку, бережно приложился. Но вдруг посмотрел на ротного и сказал:

— Товарищ старший лейтенант, так нельзя.

— Что — нельзя?

— Без дезинфекции — нельзя. Врачи скальпель всегда в спирте полоскают. Чтобы ничего не занести, никакой заразы.

— Давай фляжку! — тут же приказал Нелюбин старшине.

Фляжка тут же нашлась. Из темноты передали чьи-то руки.

— На, пополоскай. Только внутрь — не смей.

— Что ж ее, выплевывать, что ли?

И Нелюбин, паче всего поощрявший бережливость, махнул рукой:

— Глотай. Разрешаю. Но чтобы дело исполнил не хуже доктора!

Емельянов старательно прополоскал рот.

— Ну что? Ухватился? — нетерпеливо торопили минометчика сгрудившиеся возле раненого.

Емельянов зло шевельнул губами и с силой дернул осколок. Плоский, величиной с палец, с острыми рваными краями, он чем-то походил на наконечник стрелы, найденный в земле и наполовину соржавевший. Емельянов выплюнул его в лужу, помыл и протянул Фаткуллину.

— На, пулеметчик. Это тебе награда от личного состава Седьмой роты. Другой тебе не положено.

Бойцы засмеялись. Кто-то протянул индивидуальный пакет, кто-то фляжку с недопитым глотком спирта, чтобы продезинфицировать рану. Характер Фаткуллина в роте знали: с таким ранением он окоп не покинет. На плацдарме появился еще один пулемет. Радовался и старший лейтенант Нелюбин, как председатель колхоза, которому в самый разгар сева, когда, казалось, провалены все сроки, прислали из МТС еще один трактор. Старенький, ремонтный, но все же таскающий плуг и бороны.

— Ну что, Фаткуллин, один выбрался? — спросил Нелюбин.

— Один, командир. Один. Москвина и еще двоих пулеметчик срезал. Уже на бревне. Не доплыли. А остальных — на острове. К нам из батальонов прибило несколько человек. Раненых много. Санитары их туда вытаскивали. А самолеты как зашли...

Нелюбин выслушал рассказ пулеметчика и осторожно спросил:

— Как рука? Болит? В санчасть пойдешь? Или потерпишь?

— Командир, я в окоп пойду. Назначь мне второго номера, чтобы пулемет перетаскивал. А стрелять я сам буду.

— Спасибо тебе, Фаткуллин.

А вечером, после артиллерийского налета на деревню, на развилку дорог и рощицу, после, того, как утих в деревне пожар и умолкли крики и стоны раненых, Нелюбин прикорнул в окопе. Его так и сморило внезапным сном. Так засыпал он после покоса, когда, уже по высокому солнцу, на терпении и упорстве, добивал последнюю закраину луга и, повесив на березу косу, валился в шалаше на охапку вяленой травы. Дело сделано, а теперь можно и поспать...

Проснулся он, может, через час, от тишины и размеренного разговора, доносившегося из соседней ячейки. Беседовали двое. И в первые минуты он никак не мог уловить смысл разговора бойцов. Артиллеристы тоже спали. Уж они-то отработали сегодня на славу. Бодрствовали только в соседнем окопе — охранение несло службу.

— Скорее бы нас сменили, — донеслось оттуда.

Тянуло махорочным дымком. Уж как их немец в Днепре ни купал, а солдат табачок сухим сохранил. Вот теперь, среди тишины, потягивает родимую.

— Ротный говорил, что ночью...

— Да, два батальона — за несколько минут...

— Ну, им тоже досталось.

— Бьемся, бьемся, кишки один другому выпускаем и конца-краю этому нет...

— Будет конец. Вот только доживем ли мы до него.

— А это да. Нас-то все — вперед, на прорыв, на убой...

— Штрафные, что ж...

— Так мы ж уже не штрафные. Разве что бывшие...

— Штрафные бывшими не бывают.

— А это да. А ну-ка, дай и мне потянуть.

— Ты ж только что свою скурил?

— Дай, дай. Твоя слаще. Вот доживем до победы, встренемся где-нибудь и будем вспоминать, как «сорок» в сыром окопе делили...

— Да... А у нас сейчас под зябь пашут. Грачи по пахоте ходят. Перед отлетом. Черные, среди блестящих пластов... Картина!

— Эх, Кузьма, не трави душу. У вас пашут... А у нас что, не пашут, что ли? Только кому вот пахать? Бабы одни остались в деревне. Да старики. Да дети малые. Вот тебе и картина...

Ах ты, сволочь лютая! Сука косматая! Распроклятая война! Так проклинал он, командир Седьмой роты и бывший председатель колхоза старший лейтенант Кондратий Герасимович Нелюбин и этот окоп, и сырость октябрьской ночи, и овраг с изуродованными деревьями, и весь берег с его траншеями, кольями с колючей проволокой, с пулеметными и стрелковыми ячейками и со всем тем, что нагородила здесь война. Что ж ты нас третий год мытаришь? Что ж ты душу вытряхиваешь? Сколько ж можно? Какое ж на тебя надо терпение, чтобы вынести все это?

Он сунул палец за голенище. Письмо лежало на месте. И письмо, и голенище были теплыми. Отвыкшая от гуталина кирза загрубела, потеряла бравый уставной вид. Но все же ни на что на свете он не променял бы сейчас свои издавшие виды, обтопавшиеся и примятые по ноге ладные сапоги. Считай, совсем новые, полученные из обоза старшины сразу после боев под Жиздрой и Хотынцом.

За эти два с лишним года войны Нелюбин научился довольствоваться тем, что достаточно солдату. И что касалось одежды и обуви. И что касалось еды. А когда случалась свободная минута, укутывался шинелью, втискивался в угол окопа и тут же засыпал. Спи, солдат, пока война без тебя обходится, жди приказа. Правда, с назначением на новую должность появились и новые обязанности — ответственность не только за свою жизнь и личную материальную часть, как то: винтовка или автомат, пара запасных дисков, две-три гранаты и прочее небогатое хозяйство. Командир роты — это уже не Ванька-взводный. За тобой побольше сотни солдат, да еще немалое хозяйство, не считая вооружения. Куда ни кинь, не меньше колхоза. Никак не меньше. А если учесть обстоятельства фронта...

Нет, тут, ектыть, долго не поспишь. Нелюбин пристегнул на место хлястик шинели, поправил португую и тяжелую кобуру на боку. Эх, утонула вместе с плотом его телогрейка. Но сейчас, со сна, когда в голове гудело, а все тело разламывала усталость, он сожалел не столько об удобной в бою телогрейке, сколько о том, что, переодеваясь перед форсированием реки, второпях забыл вытащить из кармана кисет с табаком. Пропал его памятный кисет. И табаку ведь порядочно было. Почти под завязку. Раза два-три всего-то и покурил из него. А теперь надо у кого-то из бойцов просить на завертку. Снова зачесались под гимнастеркой его родинки, заныла ключица.

За берегом следил замполит Первушин с группой бойцов. Нелюбин увидел в темноте осунувшееся бледное лицо заместителя и спросил:

— Ну что, Игорь Владимирович, тихо?

— Тихо. Или соблюдают маскировку, или еще не пошли.

— Когда надо тишины, нет ее, а когда... А закурить у вас не разживусь? Кисет мой уплыл. Вот, мучаюсь теперь.

Первушин достал начатую пачку папирос, но тут же сунул ее назад, расстегнул полевую сумку и вытащил оттуда полную.

— Вот, Кондратий Герасимович, возьмите.

— Да куда мне столько? — растерялся Нелюбин.

В роте не приняты были такие подарки. Посыпать из кисета на завертку или оставить «сорок» — вот обычный жест внимания и проявления дружбы и уважения. Для плохого человека и недруга солдат в свой кисет за щепотью не полезет. А тут — полная, нераспечатанная пачка.

— Курю я, как видите, мало. А старшина выдал полное довольствие, на двое суток. Так что угощайтесь.

— Ну, спасибо. А мой табачок уплыл... Да вот кисета жалко, — вздохнул Нелюбин. — Памятный кисет. Еще с подмосковных боев. И Вязму я с ним пережил, и... — Он хотел было сказать: «...и плен», но вовремя спохватился. Его словно обожгло в затылке. Да, ектыть, голова-то без сна совсем не работает. Но и плен я с ним прошел, опять пожалел он о своем кисете. А ведь охранник было отнял. Хрен ему, а не мой кисет... Но теперь он уже расстался с ним навсегда. Да, Днепр, выходит, суровой плена.

Где-то вдали, на левом берегу застрекотали сороки. Кто-то спугнул сторожкую птицу с ночлега. Сумерки внизу уже сомкнулись. Но за оврагом, на западе еще колыхалось зарево заката. А может, это горела какая-нибудь деревня, подожженная ночными бомбардировщиками.

— Кажись, плывут, — сказал один из бойцов.

Внизу действительно послышались какие-то смутные звуки, явно нарушающие мерный плеск днепровской воды.

— Кондратий Герасимович, разбудили бы вы артиллеристов. Если немцы обнаружат переправу, может, ударить по ним?

— Это можно. Но в таких случаях снаряды обычно летят по своим. А бить по деревне... Только переполошим, на ноги поставим. Тут теперь, Игорь Владимирович, молись, чтобы немец услышал как можно позже.

Простучал дежурный пулемет.

— А ну-ка, Фаткуллин, сыпани пару очередей. Чтобы уши прижал. — И Нелюбин оглянулся на пулеметчика, молча дежурившего все это время у трофейного МГ.

Фаткуллин быстро передернул затвор и, когда немец умолк, послал в сторону бережной траншеи две длинных очереди. И тотчас оттуда ответили сразу несколько пулеметов. Один трассер прошел значительно выше. Пули зашлепали по стволам осин. А другой задел бруствер.

— Точно бьет. Вот шайтан! — выругался Фаткуллин.

— Пускай бьет. — Нелюбин стряхнул с воротника шинели комочки земли и выглянул через бруствер. — А теперь, Фаткуллин, переползи вон туда, к ольхам. И дай очередь оттуда. Только лежи, головы не поднимай.

— Понял. — И Фаткуллин ловко подхватил здоровой рукой пулемет и, как кошка, выпрыгнул из окопа.

А внизу уже слышались голоса. Батальон разгружался с плотов на отмели. Туман не давал немцам разглядеть, что происходит у воды. Возможно, они решили, что рота уходит, покидает безнадежный плацдарм. Взлетела гирлянда ослепительно-белых ракет. Но туман, вязкий, как сметана, днепровский туман поглотил и их. Запоздало ожила немецкая траншея. Ударили пулеметы. Захлопали винтовки. Снизу, с косы, им ответили басом сразу несколько ДШК.

— Давай сюда Емельянова с его «самоваром»! — приказал Нелюбин связному. — Скажи, пускай тащит сюда весь запас мин. Батальон высаживается. Смена пришла. Так что смерётные припасы можно истратить. — И он засмеялся.

Связной вернулся через минуту, доложил:

— Емельянов с расчетом на подходе. Вас, товарищ старший лейтенант, к телефону.

— Кто?

— Комбат Лавренов.

— Принимай, Игорь Владимирович, командование, — приказал он замполиту. — Пусть минометчики лупят вдоль траншеи. Старайтесь подавить пулеметы. А я пойду на берег, принимать полк.

Первушин опустил в окоп и принялся менять диск на ППШ. Ствол автомата раскалился.

— Вот видите, Кондратий Герасимович, удержали мы плацдарм.

Ракеты над немецкой траншеей взлетали без конца, торопливым ярким веером. Они раздвигали черную зыбь ночи, озаряя обрыв, бескрайнюю реку тумана, который теперь, казалось, двигался во всех направлениях, и ломаную линию траншеи. Стал отчетливо виден овраг, его очертания по всей окружности и ломаная линия немецкой траншеи. Пулеметчики и стрелки Седьмой роты теперь видели весь рубеж немецкой обороны как на ладони. ДШК и «максимы» работали не переставая, длинными прицельными очередями поливая огневые точки и развилку дорог. Там, за деревней, откуда все еще тянуло дымом пожаров после артонала, загудели моторы и послышались команды. Немцы, прозевав высадку, запоздало подвели резервы.

— Попытаются контратаковать. — Нелюбин махнул автоматом в сторону деревни. — Пускай крупнокалиберный перенесет огонь туда. Держись тут, замполит. Скажу честно, не думал, что из тебя такой боевой лейтенант получится.

Они обнялись. И Нелюбин, пригибаясь к земле и прислушиваясь к свисту и шелесту пуль над головой, побежал вниз. Там ждал его на проводе комбат Лавренов.

И почему они обнялись? Как будто почувствовали, что разговор у них последний, что

прощаются навсегда. Через полчаса немцы подведут резервы, пустят роту танков и пехоту на полугусеничных бронетранспортерах и сметут их с плацдарма. Всю ночь будет греметь в овраге бой, то затихая, то возобновляясь с новой силой. А к утру остатки полка и несколько человек Седьмой, бывшей штрафной роты на бревнах и плотах переправятся на левый берег. Одна из групп во главе со старшим лейтенантом Нелюбиным прорвется через немецкие заслоны и уйдет в сторону города. Днем она соединится со штрафным батальоном, который захватил плацдарм в нескольких километрах выше по течению Днепра и прочно его удерживал.

Всю оставшуюся жизнь он их будет вспоминать — сына Авдея и своего замполита лейтенанта Первушина. И в одинокой старости, сядя за стол в День Победы, чтобы помянуть погибших боевых товарищей, он всегда будет наливать три стопки: сыну, замполиту и себе.

Глава двенадцатая

Доверить Анну Витальевну и Алешу Иванку Воронцов не мог. Повез их в Прудки сам. Об этом его просил и Радовский. Приторочил к седлу небогатые пожитки. Помог женщине сесть на коня, подал Алешу и повел Гнедого по знакомой тропе вдоль озера в сторону восхода солнца. Карабин оставил на хуторе. С собою взял автомат Пелагеи.

Через несколько минут следом выехал Иванок. Держа расстояние, он проследовал той же тропой, но, перебравшись через топь и оказавшись в лесу на другом берегу Вороны, постепенно начал отклоняться от маршрута, а вскоре остановился, спешился и залег в ельнике. Вечером, когда на окрестности сошли сумерки, поглотив дали, он вывел коня и лесом пошел назад к хутору.

Этот маневр они предприняли на случай, если за хутором установлено наблюдение. Радовский предупредил: Юнкерн опытный разведчик, к каждой операции готовится основательно, осторожен, предусмотрителен, умеет выжидать, обладает внутренней самодисциплиной, при этом умеет сохранять дисциплину во вверенной ему группе. И еще одно важное обстоятельство сообщил Радовский во время разговора: возможно, здесь, в Красном лесу, в окрестностях аэродрома, Юнкерна удерживал не приказ немецкого командования, не боевая задача с целью диверсии, а еще и личные мотивы.

— Во время оккупации через его руки прошло много ценностей, — рассказал Радовский. — Так называемые антипартизанские мероприятия в основном сводились к прочесыванию окрестностей деревень. Потом мы входили в населенные пункты. Вот тут и начиналось... Народ во взводах был разный. Попробуй, удержи их от мародерства... А у Юнкерна было несколько человек из числа особо приближенных, которые специально занимались реквизицией ценных предметов. Путем опроса местных жителей выявляли зажиточных людей. А дальше уже по отработанному варианту. Чаще всего отдавали все, что имели, добровольно. Юнкерн любил перед строем одаривать особо отличившихся во время операции некоторыми предметами из реквизита. Серебряными портсигарами, часами. Понимал, что громоздкие предметы — багаж ненадежный. Однажды, где-то в окрестностях Дорогобужа, он разгромил партизанскую базу. Захватил какого-то еврея с мешком золота и камешков. Серьги, обручальные кольца, кулоны, цепочки... Ценности были собраны со всего района партизанами. Специально за ними прибыл на самолете человек из Москвы. Тот самый еврей с нашивками комиссара. Люди снимали с себя и вытаскивали из тайников золото на строительство танков и самолетов. Так им сказали. Но комиссар на самолете не вылетел. Тоже что-то, видать, задумал. Потом партизанский район блокировали, рассекли на сектора. Прихватили комиссара. Мешок забрали. Еврея допросили с пристрастием и — на березу. Так вот мешок с золотишком Юнкерн спрятал где-то здесь. Побоялся брать ценности во время отступления. На дорогах стояли посты, жандармы проверяли каждую машину, телегу или мотоцикл. А теперь вернулся. Либо забрать. Либо перепрятать до лучших времен. Немцы отступают. Не удержатся, по всей вероятности, и в его родной Прибалтике. Лучшего места, чем этот хутор, не найти. Вот что меня путает больше всего. Таким образом, существует два варианта событий: первый — Юнкерн с группой кружит возле Шайковки с целью проникнуть в расположения аэродрома и заложить там взрывчатку; второй — Юнкерн кружит возле хутора и озера...

— Тогда надо уводить людей.

— Старики отсюда, как ты понимаешь, никуда не пойдут. К тому же здесь я. Это, я думаю, удерживает Юнкерна. Пока. Они не знают, где я. Но понимают, что где-то здесь. С автоматом. Да еще появились вы.

— А как же Владимир Максимович? Неужто он тоже с ними?

— Думаю, что нет. С ним Юнкерн решит в последний момент. До визита на хутор. Либо оставит на аэродроме. Мертвого или живого. Либо ликвидирует сам. То же самое они сделают с немецким радистом. Он тоже серьезная помеха. Быть может, посерьезней Турчина. С ним намного проще: погиб во время диверсионных мероприятий... А за немца спрос будет особый. Но и тут, я думаю, Юнкерн выкрутится. Слишком хорошая ставка на кону. Уберут фрица. Или подставят под пулю. Затем явятся на хутор, устроят резню. Спрячут мешок. Постройки, возможно, сожгут. Расчет прост и гениален одновременно. Формально как бы привлечь к хутору внимание. Будет проведено расследование. Но следователи и оперативники будут искать другое — улики, следы преступления. А клад, таким образом, уйдет глубже. Юнкерн — человек непростой.

И теперь, вспоминая разговор с Радовским, Воронцов пытался найти решение, которое могло бы избавить от опасности всех. Конечно, самый радикальный способ — уничтожение группы Юнкерна. Но у них мало сил. Они почти ничего не знают о диверсантах. Где их лагерь, какое вооружение, на сколько суток имеют запас продовольствия. Но одна ниточка все же маячила — Кличеня. Он ходит в Андреевки. Маршрут лежит вдоль большака. А значит, проходит и мимо Прудков. Если каждый раз не меняет путь. Но вряд ли — побоится мин. Тут ведь набросано везде. И немецкие, и наши. И сами они минируют дорогу. Наверняка пользуется одним маршрутом, чтобы не оставить свои кишки на какой-нибудь ольхе.

Воронцов остановил Гнедого. Прислушался к тишине леса. Анна Витальевна мгновенно поняв его жест, прижала к груди спящего сына и тоже беспокойно оглянулась. Лес жил своей жизнью. Он подчинялся только осени. Только ей. Даже война, время от времени вихрем пронесившаяся над его чащами, березовыми рощами и овражистыми дубравами, не вносила ни хаоса, ни смятения. Рвались шальные снаряды, по растерянности или разгильдяйству артиллерийских расчетов и танковых экипажей отклонившиеся от курса, падали самолеты, забредали окруженцы и дезертиры. Оставались срубленные верхушки деревьев, обломки искореженного металла, кровавые бинты под соснами на подстилке из моха, трупы умерших от ран и замерзших, потерявших силы и надежду выбраться к людям, которые могли бы им помочь. Лес быстро справлялся с вторжениями в его вековой мир. Человеческая плоть вскоре становилась почвой. Корни деревьев и трав расщепляли ее на химические элементы, жадно поглощали, всасывали, оставляя на поверхности только клочки одежды, ремни и оружие. Но потом и это исчезало. Даже обломки сгоревших самолетов медленно погружались в землю. Их заваливало листвой, обметывало зеленым молодым мхом и дымчатым лишаем, и этот естественный камуфляж до поры до времени сглаживал следы вторжения и частичного разрушения здешнего порядка, пока не приходил человек и не уносил железо и обшивку для своих нужд. Остальное было предоставлено времени.

Воронцов умел понимать лес, его тишину и шорохи деревьев и трав, голоса птиц и зверей. И потому сразу различил звуки человеческих шагов. Примерно в полусотне метров от них. Там, в стороне, была просека, та самая, которую рубили когда-то в первую военную зиму прудковцы, пробиваясь к озеру и спасаясь от казаков атамана Щербакова. Шедший наверняка знал дорогу и пользовался ею не впервые. Звуки шагов равномерные, как удары

пульса. Значит, не услышал их.

Воронцов сделал знак Анне Витальевне. Она понимающе кивнула. Вытащил из кармана кусок сухаря и сунул Гнедому. Конь тут же благодарно потянулся к сухарю мягкими замшевыми губами. Воронцов погладил его, перекинул через голову повод и передал Анне Витальевне.

— Возьмите и это. — И он вытащил из кармана шинели «вальтер». — Знаете, как им пользоваться?

Она кивнула и взяла пистолет.

— Если начнется стрельба, поезжайте туда. — Он махнул рукой на северо-восток. — Все время держитесь этого направления. Мимо Прудков не проедете. В поле разыщите большие камни-валуны. Возле них ждите меня до захода солнца. Потом идите в деревню. Дом Бороницыных возле пруда, в ракитах.

— Саша, — услышал он голос женщины, когда уже уходил, осторожно раздвигая ветви бересклета, — будьте осторожны.

Воронцов сделал вид, что не услышал ее шепота. Так было легче и для всех.

Анну Витальевну Воронцов всегда воспринимал как человека из другого мира. Он знал ее историю. Кое-что рассказывала и сама. Кое-что Зинаида. И всегда выпрямлялся и внутренне собирался при встрече с ней. Жена Радовского. Бывший специалист по радиоделу спецподразделения абвера. Кажется, даже работала инструктором в школе. Теперь Радовский прячет ее и сына на хуторе. И сам пришел сюда. То ли действительно мечется между двумя присягами, то ли ведет тонкую игру с дальними перспективами. Когда они вчера разговаривали в келье монаха Нила, Воронцов готов был поверить каждому его слову и жесту. А теперь начал сомневаться. Все ли так, как говорил Радовский? Нет ли здесь какого-либо подвоха? А что если, по его плану, период жизни на хуторе для Анны Витальевны, а вернее, для опытной радистки спецподразделения абвера, истек, и пришло время легализоваться где-нибудь в окрестной деревне? Прудки, с его своеобразным внутренним уставом жизни, идеальное место для очередного переселения. И время выбрано самое подходящее.

Шаги становились все ближе. Кустарник кончался, и впереди уже виднелись редкие сосны, снизу обметанные зарослями черничника и мха, который топил звуки шагов. Воронцов подождал, пока шедший по дороге прошел вперед. Вышел к лощине, к каменистому переезду и залег за ивовым кустом. Приготовил автомат, переведя затвор на боевой взвод. Здесь, в лесу, была другая война, она сильно отличалась от фронта, от передовой, с четкими линиями, позициями противника и соседей, с артналетами и долгожданной кашей, которую старшина с каптенармусом даже во время обстрела притаскивал в окопы. Здесь все было иначе. Но и эту войну он знал. Главный принцип — здесь можно успешно действовать и в одиночку. Особенно если противник — солдат фронта, а не леса.

В группе Юнкерна наверняка были и те, и другие. Хотя вторых, возможно, больше.

Шаги приближались. Вскоре на просеке, которая открывалась в глубину шагов на пятнадцать, появился человек в куртке и укороченных бриджах «древесной лягушки». Из-под длинного козырька надвинутой на лоб кепи торчал хрящеватый нос и обметанные черной недельной щетиной скулы. Морда скуластая, мгновенно отметил про себя Воронцов, явно не немец. Кличеня? Похоже. За плечами поношенный красноармейский «сидор». Набит под самый мухор. Лямки глубоко врезаются в плечи. Ноша тяжелая. Тащит продукты. Или еще

что-то, о чем говорил Радовский. А может, это и не Кличеня вовсе, а сам Юнкерн? Перетаскивает сокровища. Нет, вряд ли. На плече еще один мешок, большой, сшитый, видимо, из плащ-палатки, и тоже немецкой. Сшит наскоро. Может, там, в Андреенках. Или в лесу. По виду легкий. Сухари. Точно, сухари. Юнкерн со своим мешком так по лесу бродить не будет. Если Радовский эту историю с золотом не сочинил для своего замысловатого сюжета.

Человек в камуфляже «древесной лягушки» поравнялся с ивовым кустом, осторожно перебрался по сырым слизлым камням брода через болотину. Остановился, внимательно осмотрел переезд. В какое-то мгновение скользнул взглядом по ивовому кусту. Воронцов лежал не шелохнувшись. Хорошо, что они с Иванком не поехали по просеке. И назад он повел Гнедого по лесу, параллельно дороге. Оставь они следы на высохших лужах переезда, этот, с двумя мешками, сразу бы все понял.

Воронцов проводил его напряженным взглядом, стараясь при этом смотреть мимо потного затылка, над которым розоватым облачком кружила мошкара. Когда пристально смотришь на человека, он может почувствовать твой взгляд. Особенно в лесу. Здесь у человека обостряются некоторые инстинкты, о существовании которых, в иных обстоятельствах, он может и не подозревать.

Кличеня. Все же Кличеня. И сейчас брать его не надо. Пускай идет восвояси. А вот куда несет добро, узнать бы не мешало. С такой поклажей он прямо, может, и не поперет, но и петлять долго не будет — тяжело.

Воронцов шел уже больше часа. Давно свернули с просеки, озеро осталось левее, позади. Кличеня обошел его примерно в километре. Значит, о существовании хутора знал и, скорее всего, имел строгие указания Юнкерна — не показываться на глаза хуторским ни при каких обстоятельствах. Иногда он останавливался, сбрасывал с плеча мешок, доставал из-за пазухи сухарь и грыз его, беспечно насвистывая какую-то браваурную мелодию, вроде из немецких.

Однажды штрафники захватили немецкий блиндаж. Кроме прочего барахла, отыскивали граммофон с трубой и целый ящик пластинок. Была среди них и эта. Кличеня фальшивил, но старался, и Воронцов узнавал мелодию веселой опереточной песенки. Он даже вспомнил нежный женский голос с нарочито-наивными интонациями и отчетливым, видимо, берлинским произношением. Немка пела о весне и горных цветках, которые отцветают так быстро, что не все их могут увидеть. Видимо, и Кличеня любил эту наивную сентиментальную песенку, которая, возможно, тоже навевала ему какие-то приятные воспоминания. Ведь есть же и у него родина, семья, быть может, дети и жена, о которой он скучает. Хотя это не помешало ему тащить за волосы к немецкому грузовику сестру Иванка. Какая в том была надобность? Всех, подходивших по возрасту и состоянию здоровья, все равно бы погрузили на машины и увезли на станцию. Выслуживался? Но и не всякий командир такое поведение рядового полицейского, своего подчиненного, зачтет как служебное рвение.

Воронцов вспомнил мельницу, Захара Северьяныча, Лиду и то, как надевал чужую форму. Не уйди он тогда из той деревни, что было бы с ним?

Вскоре дошли до натоптанной тропы. Воронцов присел, затаил дыхание. Спина Кличени исчезла за ольховым подростом, еще не сбросившим листву.

— Стой! — послышалось впереди.

— Сало! — тут же отозвался Кличеня; голос прозвучал в лощине необычно громко, с

интонацией раздражения.

Сало, подумал Воронцов, это что, кличка или пароль? Если пароль, то почему не прозвучал отзыв. И фуражир, и часовой хорошо знают друг друга, так что необходимости в отзыве нет. А вот Кличеня, нагруженный мешками, если это он, действительно Кличеня, а не *Сало*, пароль назвать обязан.

— На, тащи дальше сам! Все плечи оттянул. — Кличеня сбросил оба мешка к ногам часового.

Воронцов успел перебежать за куст смородины, заросшей крапивой и пустырником, прополз шагов пять и приподнялся на локтях. Теперь он видел обоих. Часовой тоже был одет в камуфляж «древесной лягушки». Только вместо кепи на его голове сидела каска, туго обтянутая куском крапчатого камуфляжа, перехваченного по окружности ремешком, за которым густо торчали березовые веточки маскировки. Часовой оказался коренастым крепышом.

— Где ты так долго? — спросил он и толкнул носком коричневого ботинка большой мешок. — Ого!

— Вот тебе и ого... Пока вы тут на костре яйца жарили, мне пришлось попотеть.

— На Галюхе, что ль? — засмеялся крепыш и достал из нагрудного кармана пачку сигарет.

— А это, Глыба, не твоего ума дело. У тебя что, претензии? А то давай поговорим?

— Ты что, Кличеня, обиделся, что ль? Ну извини. Не знал, что ты жениться на ней собрался.

Значит, все же Кличеня. Но и часовой не *Сало*. У того своя кличка или фамилия — Глыба.

— Пока ты там на свиданку ходил, у нас... — Глыба сделал неопределенный жест рукой. — В общем, с Шайковкой полный п...ц. Одна группа почти полностью накрылась. На красноперых напоролись.

— Кто?

— Колюня, Гресь и этот, новенький, офицер — наповал. Юнкерна только слегка задело. Прибежал бледный, матерится. Один он из всей группы остался.

— Где он?

— У себя, в землянке. Ты ж ему такую землянку оборудовал, хоть зимуй. Весь самолет перетащил. И дождь теперь не промочит.

— А ты чего ж, Глыба, такой радостный? — И Кличеня со злостью швырнул под ноги недокуренную сигарету.

— Может, операцию теперь отменят...

— Что?! Ты как встречаешь старшего по званию? А! Глыба? Почему отзыва не слышу?

— Сухарь, — нехотя выдавил часовой.

Воронцов прижался к земле, отдышался и пополз назад, до осинника. Там встал побежал в сторону сосняка. У Юнкерна трое убитых. Среди них некий офицер. Кто? Неужели Владимир Максимович?

Он вспомнил бывшего начштаба. С таким помощником, как Турчин, можно было обдумать, спланировать любое задание. Надежный человек. Умный офицер. И почему он не захотел возвращаться назад? Боялся, что спросят за полк? За оставление позиций?^[10] Сколько раз они выпутывались из таких обстоятельств, которые казались безнадежными. Но выбирались сами и выводили отряд. Владимир Максимович казался Воронцову неуязвимым.

Отличный стрелок, офицер, хорошо разбирающийся в вопросах тактики и умевший предугадать действия противника. Казалось, что они могли сделать силами своего маленького отряда, находясь при этом за линией фронта? Прятаться от немцев и полицаев по лесам? Но нет, не только. Выполняли задания, собирали разведанные, ходили в «коридор» в окруженную группировку 33-й армии, возили грузы. И Владимир Максимович действовал безупречно. Какое-то время Воронцов считал его погибшим. Там, на Угре, весной прошлого года, когда немцы растерзали выходящую из окружения западную группировку 33-й армии. Но потом узнал, что его бывший начштаба жив. Степан тоже был там. Степан сумел вернуться^[11].

И вот теперь, похоже, что-то произошло с Турчиным. А что случилось с группой Юнкерна? И кто такой «офицер»?

На другой день, вернувшись из Прудков, Воронцов снова встретился с Радовским в келье монаха Нила.

— Как ты понял, что это был Кличеня, а не сам Юнкерн? Внешне они похожи. Одинакового возраста. У Кличени тот же рост, телосложение и даже на лицо они очень и очень похожи. Когда Юнкерн начал приближать к себе этого мужлана, я подумал: не готовит ли он себе, таким образом, двойника?

— Он сморкался в руку. А потом, когда я прошел за ним до самого лагеря, часовой его называл по имени — Кличеней.

Радовский засмеялся.

— Сморкался в руку? Да, ты прав. Наблюдательность — дар. Дар универсальный. Он одинаково важен и для философа, и для разведчика. И для поэта, и для снайпера. Юнкерн, конечно же, так, по-мужицки, прочищать нос не мог. Это — привилегия простонародья. Но когда-нибудь и русский мужик научится элементарному и будет носить в кармане чистый носовой платок.

Вот что его настораживало в Радовском. Дистанция, которую тот всегда, быть может, даже неосознанно, держал перед собой и человеком, происходившим не из той благородной среды, которая произвела на свет и воспитала господина Радовского. Все-таки он был и оставался вражиной, как сказал бы Кудряшов. Белая кость, голубая кровь. Вот вроде и добрый человек, и судьба его потаскала по нелегким дорогам. И служит всю жизнь. И солдатской кашей не брезгует. А все равно родинки не смыть... С обидой живет. И с претензией. С тем, видать, на родину и вернулся. Родительский дом да имение, да земли, да все, что на них есть... Немцы пришли за нашими десятинами. А эти — вроде как за своими.

— Да я ведь, господин Радовский, тоже на рогожке родился. Так что и у нас с вами привилегии — разные.

— Прости, Курсант. Не о том сейчас надобно. Я знаю. Прости. Это так. Старые обиды. Несостоятельные и бессмысленные. В них нет сути, ушла. Исчезла. Осталось одно. И у меня и у тебя.

— Что? — вопросительно посмотрел на Радовского Воронцов.

— Россия.

Они некоторое время молчали. Радовский шевельнулся первым.

— Я говорю это без пафоса. Думаю, что ты меня понимаешь. А ты, я вижу, устал. Только не совсем понимаю.

— Прибыл на отдых и лечение, а тут...

— Тебе надоело носить оружие. Это пройдет. Но бывает на свете иная усталость. Как

сказал поэт, *и трудно дышать, и больно жить...*

— Нет, я этого не ощущаю. А вы...

— А я должен подумать об Ане и Алеше.

— Вы хотите начать новую жизнь?

Неожиданный вопрос Воронцова застал Радовского не то чтобы врасплох, нет, Георгий Алексеевич даже не вздрогнул, услышав то, о чем в последнее время постоянно думал. Но первое слово в ответ он произнес не сразу. Кто он здесь? Радовский Георгий Алексеевич, родившийся в конце прошлого века в родовом имении неподалеку отсюда? Он, пришедший сюда два года назад, — кто? Офицер двух армий, так и не ставший русским солдатом. Он, заблудившийся в поисках отчизны и теперь пытающийся обрести ее рядом с любимой женщиной и сыном на берегу тихого лесного озера. Он, дезертир или беглец, что, по своей сути, одно и то же. *Разрушающий будет раздавлен, опрокинут обломками плит, и, Всевидящим Богом оставлен, он о муке своей возопит...* Начать новую жизнь. Как это странно звучит. С какой пленительной жутью! Начать новую жизнь... Мне? Заглянувшему в преисподнюю? *Созидающий баиню сорвется, будет страшен стремительный лет, и на дне мирового колодца он безумье свое проклянет...* Нет, об этом он сейчас говорить не готов. Даже с тем, кто может его понять как никто другой. И Радовский спросил Воронцова:

— Ты воевал в штрафной роте?

— Да.

— Командиром взвода? Роты?

— И солдатом, и командиром взвода.

— Как ты думаешь, — спросил вдруг Радовский, — если я приду с повинной, меня зачислят в штрафную роту? Хотя бы солдатом. Дадут винтовку и возможность искупить кровью мою вину перед родиной?

— А у вас перед родиной есть вина?

— У меня есть долг. Я понимаю, это звучит высокопарно. Но все же — долг. Притом, что слово «родина» мы, возможно, наполняем разным смыслом. Но это же не мешает нам спокойно смотреть друг другу в глаза и понимать. А твой недуг, Курсант, скоро пройдет. Каждому — свое, как говорят немцы. *Только усталый достоин молиться богам, только влюбленный — ступать по весенним лугам!* Сейчас ты ступаешь по тем самым весенним... Хотя, возможно, не вполне это ощущаешь. И хотя кругом — осень. — И, не отрываясь от сияющего оконца, куда все еще косо заглядывало солнце, озаряя бронзовый присад и почерневший от времени оконный переплет, вздохнул: — Какая прекрасная нынче осень! В такое время бродить бы по пустынному лесу рядом с человеком, которого любишь. При этом зная, что твои чувства взаимны.

Воронцов ничего не ответил. Он снова воспринял слова Радовского двояко: либо господин майор слишком откровенен, до сентиментальности, либо действительно ведет игру с дальним прицелом.

Радовский тут же почувствовал настроение Воронцова и сказал:

— Значит, Аня с Алешей там, в Прудках, вполне устроены и в безопасности?

— Да. Поживут пока у Бороницыных.

Эта фамилия, которую Воронцов произносил уже не единожды, что-то напоминала из давно минувшего, забытого. То ли солдат, еще той, русской армии, то ли прапорщик... То ли Августовский лес, то ли позже, на Дону...

— Надо брать Кличеню. — Воронцов отпил из алюминиевой солдатской кружки глоток

уже остывшего чая. Настой из каких-то неведомых трав вязал рот. — Во-первых, это можно сделать без особых сложностей. Перехватим его в лесу, на дороге, когда он в очередной раз пойдет в Андреевки. Группа Юнкерна, таким образом, уменьшится еще на одного человека. Во-вторых, зная пароль, мы можем почти беспрепятственно войти в их лагерь. Если мы даже завяжем перестрелку, они сочтут нас за отряд Смерша и, скорее всего, постараются тут же уйти. Принимать бой в их обстоятельствах нет никакого смысла.

— Да, ты, пожалуй, прав. Юнкерн будет ориентироваться на реакцию немца-радиста. Если того удастся убедить, что на них наткнулись Смерши, они уйдут. А мы проводим их. В пути, на марше, взять их, последних, будет легче. Пусть поймут, что — ушли. Пусть расслабятся.

— Нам достаточно, если они просто уйдут.

Радовский ничего не ответил.

Глава тринадцатая

Капитан Лавренов в полку не был человеком новым. На должность командира Третьего батальона вместо капитана Дроздова, попавшего вместе со своим штабом под бомбежку немецких пикировщиков на Вытебети и умершего в госпитале от гангрены, он был назначен из Второго батальона, где служил начальником штаба.

Когда его рота одним махом перескочила Днепр и закрепились на правом берегу, первое, о чем он подумал: немцы вот-вот очухаются и смахнут его самую боеспособную роту в воду, так что и следа от нее не останется, а еще нахватают пленных, и будут его вчерашние штрафники, мародеры и уголовники, кричать в усилители по всему фронту дивизии: «Ванька, переходи к нам! Тут лучше!» Но начали поступать первые донесения, и комбат-3 вдруг догадался, что Седьмая может принести ему не просто орден, а нечто более существенное. Если рота Нелюбина удержится и обеспечит прикрытие переправы всего полка, то, возможно, на батальоне он долго не задержится. Лавренов знал, что вчера подписан приказ о присвоении ему звания майора. Теперь он единственный майор на должности комбата. Батю готовят на дивизию. На полк вряд ли пришлют сверху. Там тоже негусто с кадрами. Так что оставалось поднажать там, где уже намечался явный успех, вовремя показать себя с лучшей стороны, чтобы не только в штабе дивизии, а и повыше кто-нибудь сказал: вот, мол, первым на правый берег на участке наступления правофланговой дивизии армии переправился батальон майора Лавренова...

— Седьмой! — услышал Нелюбин в трубке раздраженный голос комбата. — Какого хрена ты сидишь там! Для чего я тебя послал вперед? Чтобы прятаться в овраге?! Срочно дай огня из всего, что имеешь! И поднимайся в атаку! Понял меня? Атакуй траншею вдоль обрыва! Оттуда ведется основной огонь! У нас большие потери!

— Вас понял, товарищ комбат, — ответил в трубку Нелюбин осевшим, простуженным голосом. — Но мне атаковать не с кем. Все рассредоточены по огневым. Держимся из последних сил.

— Ты что, отказываешься выполнить приказ?!

— Никак нет. Но атаковать мне некем.

— Сейчас решается судьба плацдарма! А ты смеешь еще рассуждать! Выполняй приказ! Собери всех раненых, кто может держать оружие, связистов, санитаров, мобилизуй коммунистов и комсомольцев и атакуй!

— Слушаюсь атаковать! — И Нелюбин положил трубку на клапан.

— Что, товарищ старший лейтенант? — Связист смотрел с надеждой.

— Собирай всех. Приказ ты слышал. Живо, — приказал Нелюбин и увидел, как изменилось его лицо.

Конечно, там, на косе, сейчас было жарко. Конечно, комбату, под пулями, казалось, что именно ему труднее всего и что последние силы полка, которые и являла собой Седьмая рота, необходимо срочно бросить на помощь выбиравшемуся из воды на правый берег третьему батальону. Но знал Нелюбин и другое: его Седьмая держится из последних сил, пулеметчики на огневых позициях почти все переранены, и если сейчас ему стронуть с места с таким трудом построенный порядок, то ни батальону не поможет, ни овраг не удержит. А значит, крышка плацдарму, за который положено столько жизней. Но приказ есть приказ, и его нужно выполнять. Возражать капитану Лавренову бесполезно. Нелюбин знал его

вспыльчивый характер. Довелось испытать и мстительность. Однажды в штабе батальона Нелюбин, растеплившись душой и телом за чаем вновь назначенного комбата, простецки, как среди своих, пошутил. Шутка каким-то образом задела Лавренова, вернее, его штабное прошлое. А вскоре бывший штабник недвусмысленно дал понять командиру Седьмой роты, что такие шутки, тем более из уст командира бывших штрафников, неуместны. Из представления, которое Нелюбин направил в штаб батальона о награждении особо отличившихся в боях медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги», оказались вычеркнутыми фамилии всех бывших штрафников. Нелюбин попытался было возразить. Но капитан Лавренов вначале мягко предложил ему заменить фамилии выбывших таким образом фамилиями других, прибывших в роту из пополнения, и когда Нелюбин отказался, скомандовал ему: «Кругом! Шагом марш в роту!» С тех пор отношения у них были непростыми. Нелюбин не гнулся, не заискивал, не старался услужить, чтобы таким образом сгладить тот неприятный задир, который топорщился между ними, а комбат, со своей стороны, пользуясь положением, нет-нет да и давал понять командиру Седьмой, что тот у него на особом счету и что чья бы корова мычала, а штрафная — молчала... Вот так и дошли до Днепра.

Пулеметы снимать было нельзя. Это — конец. Наблюдатели докладывали, что немецкие гранатометчики уже несколько раз пытались подползти на расстояние броска, и несколько шпоковых гранат упало в непосредственной близости, перед самыми окопами. Значит, готовятся атаковать. Снимая людей для броска вправо, он оставлял пулеметчиков без какого-либо прикрытия. При этом ставил им задачу: прикрывать, обеспечивать их атаку на бережную траншею. Чем это могло грозить, он хорошо понимал. Пулеметчики, провожая обреченными взглядами стрелков, покидавших окрестные ячейки, прощались с ними, делились последним табачком и говорили короткие последние слова. Надежда была на то, что атака немецкой траншеи пройдет успешно и что третий батальон, усиленный резервами, которые смогли наскрести в полку, вырвется с косы и прихлынет всем своим спасительным потоком в овраг, и здесь вновь оживут опустевшие окопы и их крошечный плацдарм обретет новую силу и станет неприступным.

— Ребята! Слушай мою команду! — Нелюбин приподнялся на колене, взмахнул над головой автоматом. — Всем проверить оружие! Сейчас поднимемся и молча, бегом что есть сил — к немецкой траншее! Атакуем двумя группами! Первую веду я! Направление — на завал в траншее. Вторую ведет лейтенант Первушин! Направление — развалины риги и дерево. Пошли, ребятюшки! — И он вскочил на ноги и пружинисто, как когда-то в детстве, играя в лапту, побежал в сторону немецкой траншеи. Он знал, что сейчас все решала быстрота.

Ни о чем не жалел, оглядываясь то на пунктир немецкой траншеи, уходящей вправо, куда вел своих людей лейтенант Первушин, то на бойцов, бегущих рядом. Ни на кого и ни на что не серчал. Ни на комбата Лавренова, ни на его приказ. Раз и навсегда затвердил в своем личном внутреннем уставе Кондратий Герасимович Нелюбин: здесь, на войне, все держится на приказе. Одни отдают и обеспечивают, как могут, его выполнение. Кто огневой поддержкой, кто внезапностью действий, кто воинской хитростью и смекалкой, кто опытом и командирскими навыками. А кто нахрапистостью, угрозами и матерной бранью, после которой, даже перед смертью, не хочется смотреть человеку в глаза. Другие этот приказ обязаны исполнять.

Вот он теперь и исполнял приказ. И был спокоен. Даже шрамы на груди не чесались и

ключица унялась.

Письмо для лейтенанта Воронцова лежало за голенищем. Нелюбину казалось, что он его постоянно чувствует, и это не то чтобы действительно придавало сил и смелости, но все же имело некое особое значение. Иногда даже казалось, что Воронцов находится рядом, продвигается в нескольких шагах параллельным маршрутом, и он-то не заляжет на этом проклятом пустыре, исклеванном, изъязвленном разнокалиберными воронками от мин, бомб и снарядов. А что обижаться на капитана Лавренова? Он человек штабной, окопа особо не нюхал. Глубже землянки в землю не закапывался. Да и ту, под надежным тройным накатником, отрывал не сам. Разве что следил, чтобы солдаты, назначенные им же самим из рот, все устраивали как надо. Да теребил в руках ивовый прутик.

В последний раз, когда немец остановил их полк контратакой при поддержке танков и тяжелых полевых гаубиц калибра 150 мм, они уткнулись в овражистую местность и начали спешно зарываться с землю. Вот тогда-то комбат-3, только что прибывший в батальон, и проявил свой характер. Седьмая окапывалась по склону пологой горы фронтом на юго-запад, имея по флангам Шестую роту второго батальона и девятую — своего, третьего. Торопились, потому что впереди гремело и пришли тревожные вести, что там, за лесом, противник добывает роту или батальон, каким-то образом прибудивший на их маршрут из соседней дивизии. Солдаты обливались потом. Сняв гимнастерки, они остервенело долбили саперными лопатами каменистую землю склона, высохшего за лето до гранитной крепости. И тут в расположении роты появился новый комбат. Поигрывая ивовым прутиком, он распорядился одному из отделений вместе с сержантом срочно переместиться на полкилометра в глубину и приступить к обустройству НП батальона. Нелюбин стоял в своей ячейке с лопатой в руках и растерянно смотрел на происходящее. Солдаты мигом все поняли. И кто-то, в спину Лавренову, когда тот уже уходил в тыл, сказал: «Далеко, комбат, свой КаПэ строишь!» Капитан не оглянулся. Сделал вид, что не услышал солдатского окрика. Потом, однажды после очередной накачки, комбат, как бы между прочим, попенял Нелюбину: «Ты своим борзым языки-то придави. Вольница... Махновщина... И куда у тебя замполит смотрит?»

А замполит ему на этот раз попался — золото. Не успел он с ним перед атакой даже словом перемолвиться. Отдал приказ, указал ориентир и — вперед. Такого замполита Нелюбин на войне встретил впервые. И где? В своей роте.

Старший лейтенант перескочил через неглубокую воронку. От затяжных полетов осветительных ракет, беспорядочным веером заполнявших небо и рассекавших туман и черную слякоть октябрьского неба на клочки, от вспышек работающих пулеметов и автоматов, от гранатных взрывов, в одно мгновение заполнивших траншею, было светлее, чем днем. И о том, что сейчас крошечная октябрьская ночь, усугубленная еще и густым туманом, напоминали только косые испуганные тени.

Завал пока молчал. И это придавало сил и уверенности, что самое опасное расстояние Нелюбин со своей группой миновал благополучно. Никто из атаковавших не сделал ни одного выстрела. Только несколько гранат, почти одновременно, разорвалось с той стороны завала и столько же прилетело под ноги бегущих. Но гранатная атака, видимо, оказалась успешной. Взрывами разметало немцев, метнувшихся было к завалу со стороны стрелковых ячеек, расположенных на самом краю обрыва. И группа Нелюбина получила еще несколько мгновений.

Комроты спрыгнул в траншею, услышал, как сзади загремели по твердым комьям земли,

зашуршали камешником еще несколько пар сапог. Во время прыжка он наткнулся на обломок кола и, видимо, в это время с ремня сорвало одну из гранат Ф-1, которые он перед атакой повесил рядом с кобурой ГТ. Граната скользнула по шинели под ноги, завертелась, щелкнул капсюль-воспламенитель. Нелюбин понял, что произойдет через секунду-другую, и, нагнувшись, сгреб ребристое тельце гранаты вместе с землей и обрывками травы и бросил вперед. Отстегнул другую «феньку», тоже опасно болтавшуюся на ремне, и бросил ее немного левее, ближе к обрыву, к ячейкам немецких стрелков, где часто полыхали вспышки дульного пламени. Но от смерти спасла его первая граната, оторвавшаяся от ремня. Видимо, когда он наткнулся на обломок кола, разогнулись ее усики или сорвало кольцо. Трасса пронеслась над головой и смела всех, бегущих следом. Вторую «феньку» надо было бросать ближе, прямо за завал, где лежал, устроившись за бревнами и глыбами земли, пулеметчик. Но все произошло впопыхах и так быстро, что Нелюбин просто не успел сообразить. В таком бою действовать приходится машинально, и что как сделать, подсказывает интуиция, солдатское чутье.

Одновременно справа вспыхнула частая автоматная и винтовочная стрельба. Закричали раненые. И Нелюбин понял, что атакована группа лейтенанта Первушина. Очень опасно, с фланга, со стороны деревни. Стрельба и крики слышались и от оврага. Он успел подумать, что там, видимо, случилось то, чего он опасался больше всего, и закричал сам и прыгнул через завал. Там перевернулся через голову и почувствовал, как рядом с его каской секанула по камешнику саперная лопатка. Нажал на спуск и веером повел правее, откуда, должно быть, последовал удар и откуда, промедли он сейчас и пропусти мгновение своей солдатской судьбы, последует другой. Длинная очередь отозвалась человеческим стоном и криками на немецком языке. Диск в автомате был пуст. Нелюбин это понял по последнему холостому щелчку бойка и по тому, как полегчал сразу в руках его ПППШ. Он скатился вниз и почувствовал рукой чье-то тело. Пошарил рядом. Оружия возле немца не было. Свой автомат он перезарядить не успеет. Пулеметчик лежал в двух шагах от него и, не обращая на него внимания, вел огонь из МГ в ту сторону, откуда он только что прибежал. Нелюбин понял, что там, перед завалом, гибнет его замешкавшаяся группа. Пулеметчик посылал длинные прицельные очереди и что-то кричал, какую-то фразу, вертя ее, как орел и решку, с той азартной легкостью, которая, Нелюбин знал по себе, охватывает иногда солдата во время удачного боя, когда исход схватки уже предрешен и он во многом зависит от тебя, от твоего упорства и уверенности.

Нелюбин рывком встал на колени, перехватил автомат на горячий дырчатый кожух ствола, прыгнул вперед и, что было сил, ударил пулеметчика, целясь под обрез угловатой каски. Бил он не сверху вниз, а сбоку. И почувствовал, что попал. Пулеметчик охнул и отвалился от дымящегося пулемета. Он сделал дело и как будто прилег отдохнуть рядом со своим оружием. Нелюбин продолжал карабкаться по его обмякшему телу и, подобравшись и нащупав его каску, ударил еще раз, теперь уже тыльной стороной приклада, углом железной накладки. Вот тебе, ектыть, за мою роту! На тебе! На! Он крушил врага все новыми и новыми ударами, вкладывая в каждый из них последние силы и злобу.

Рядом карабкался еще кто-то, испуганно, ошалело бормотал бессвязное, отмахиваясь обломком винтовки с расщепленным цевьем.

— Звягин, ты? — вроде бы узнавая голос одного из своих связистов, окликнул Нелюбин.

— Ох, е..., вся бочина горит. Ранен, что ли? — Это был Звягин. — Посмотри-ка, старшой, кишки мои не мотаются?

— Ползи ко мне, перевяжу. — Нелюбин нашупал в кармане шинели медицинский пакет и решил: сейчас перевяжу Звягина и отправлю назад. Пусть свяжется по радиации с комбатом или с полковником Колчиным и доложит, что без артиллерийской поддержки на плацдарме не удержаться, что огонь теперь уже надо вести по всей площади, в том числе и по атакованным участкам, и по оврагу тоже. Потому что, судя по стрельбе и крикам, доносившимся справа и сзади, немцы уже ворвались в овраг, и там идет в лучшем случае рукопашная, а в худшем... О том, что его пулеметчики поднимут руки и их, толкая прикладами и подкалывая штыками, немцы погонят в тыл, Нелюбин старался не думать.

Звягин, извиваясь и охая, подполз к нему и перевернулся на спину.

— Посмотри, старшой, а я боюсь. — Одной рукой Звягин держал разбитую винтовку, другой шарил по комьям земли. — С детства крови боюсь.

— Своей не бойся. Своя не страшная.

Нелюбин ощупал его бок. Распоротая гимнастерка была действительно сырая и липкая.

— А ремень твой где?

— Срезал он с меня ремень. Как жнейкой, срезал. А бок что? Насквозь? Или как?

— Цел твой бок, Звягин. Поссы на тряпку и приложи. Лекарства на тебя тратить жалко. Рана пустяковая.

И только теперь, когда начало полыхать и отсвечивать и со стороны оврага, Нелюбин увидел тело немца, повисшее на ивовом мате, которыми были укреплены наклонные стенки траншеи и ячеек. Мат вырвало из земли, раздергало, будто старую соломенную шляпу. И немец, навалившись на колья грудью, будто пытался засунуть их обратно в землю.

— Так ты на него налетел? — спросил он Звягина, всматриваясь в очертания оврага и пытаясь по вспышкам выстрелов и гранатным взрывам понять, что же произошло в овраге. Кто там? Немцы? Или пулеметчики их все же не пустили?

— На него. А он, гад, штык выставил. Так и полыхнул в бочину. Еще бы на полмизинца левее и — со святыми упокой... — Звягин приложил к ране тряпку, отодранную от нательной рубахи и, лоя взгляд ротного, кивнул в сторону оврага: — А там... Не посылай меня туда, старшой. Чую, там она.

— Кто?

— А погибель моя. Или живым захватят. В плен не хочу. Хуже смерти. Не посылай, товарищ старший лейтенант. Я тебе лучше в другой раз отслужу.

— Пулеметчики же там, Звягин. Ребята наши.

— Не поможем мы им уже. Не поможем. Зря уходили оттуда. И комиссара нашего, видать, убило, и всех, кто с ним пошел. На самый обух они попали. И зачем мы оттуда ушли? Хрен бы они там нас взяли. В овраге...

Связист говорил то, о чем сейчас думал и Нелюбин. Погубил их комбат. Где его Седьмая? Нет ее. Растащил на три части. И всех нас, частями, и накрыли. Послушал... Кого послушал?

Стрельба теперь быстро смещалась к горловине оврага. Видимо, немцы уже перехватили выход к берегу. Вот, ектыть, и дождались смены... Пришла поддержка...

Во рту пересохло. Нелюбин отвинтил колпачок фляжки, глотнул воды и машинально протянул Звягину. Тот нежадно приложился раз-другой и вернул фляжку, сказал:

— Ты, командир, не думай, что Звягин струсил. Тут другое...

Незачем его посылать в овраг, подумал Нелюбин. Солдат на передовой судьбу за версту чует. Однажды, уже за Вытебетью, брали одну деревеньку. Трое суток немец держал их на

том рубеже, не давал продвинуться вперед ни на шаг. Раз поднялись, другой, третий. В ротах уже по десятку убитых и столько же раненых. Куда к черту дальше лезть? Вызвали артиллерию. Покидали «боги войны» снарядов, но негусто. Так жадная хозяйка гостям блины маслит. Опять поднялись. Пошла и Седьмая. Нелюбин, как обычно, побежал по траншее, чтобы посмотреть, не прижало ли кого страхом в ячейке. И точно, в дальней ячейке увидел солдата. В роте воевал давно. Хороший боец. Добросовестный. Но что-то его в этот раз ухватило за гузку. Может, и правда почувал что. Что ж ты, сукин сын, сказал ему Нелюбин, а ну, марш догонять товарищей! А тот ему в ноги: «Не пережить мне, товарищ старший лейтенант, этой атаки! Убьют! В голову пулей убьют!» — «Пойдем, браток, рядом! Одна судьба!» — уже спокойнее, но с той же твердостью и непреклонностью приказал Нелюбин и помог вылезти из окопа. Побежали. Солдат тот примерно одних с ним годов. Не особенно молодой. Догнали они цепь. А тот бледный весь, бежит, задыхается. Как старик. И зацепились они за край деревни. Захватили несколько домов и овины. Залегли. Начали окапываться. А тут танки пошли, «тридцатьчетверки». Сила! Подавили они огневые точки, пошли в глубину. Рота осталась немцев из домов выкуривать. И вот уже, считай, дело сделано. Последний сарай ребята гранатами закидали. Оттуда трое выскочили, все оборванные, в крови. Руки вверх тянут, трясутся. Третьим шел офицер. Вытащил пистолет из-за голенища, вроде как сдается, и вдруг вскинул его и выстрелил. Может, в него, в Нелюбина, в командира, он и стрелял. Потом проверили пистолет: магазин — пустой, один патрон всего был. А попала пуля в стоявшего рядом солдата. В того самого, которого полчаса назад он вытащил из ячейки на исходных. Прямо в лоб. Офицера того сразу прикладами забили. Никого Седьмая в той атаке не потеряла, кроме того солдата. Потому, может, и запомнился.

Да нет, не потому...

Бой сместился на берег.

— Каюк, старшой, батальону. Всея оравой навалились. Сейчас и за нас примутся. Надо что-то делать.

Со стороны оврага бежали трое. В одном из них Нелюбин узнал минометчика Емельянова. Они перебежали, держась гряды оставленных «юнкерсами» воронок. Куда они бежали? Должно быть, к лесу. Но до леса надо было пересечь дорогу. А по дороге то и дело носились мотоциклы и бронетранспортеры, подбрасывая к берегу свежие силы. Солдаты бежали уже сами по себе. Такие бега Нелюбин знал. Знал и то, чем они кончаются.

— Звягин, — указал на бегущих Нелюбин связисту, — давай впереимы. Заворачивай их сюда. Куда они полезли?

— Это я мигом, — отозвался Звягин и начал торопливо подтягивать ремешок каски.

— Возьми винтовку у фрица.

Звягин, перевернув тело немца и высвободив его карабин с плоским штыком, на котором несколько минут назад едва не повис, прыгнув вслед за ротным через завал, ловко подхватил его за ремень, перекинул на руку и отвел затвор. В патроннике блеснул патрон.

— Ну, старшой, я пошел. Прикрой нас, если что.

— Пока тихо. Веди их сюда, а я поищу тут. Может, есть кто живой.

Немцы, которых они выбили внезапной атакой за излом траншеи, пока ничем себя не обнаруживали. Палили в сторону реки. Видно, считали, что здесь после короткой и ожесточенной рукопашной схватки никого не осталось. Во всяком случае, им было не до малочисленной группы старшего лейтенанта Нелюбина, которая, вопреки здравому смыслу,

вдруг покинула овраг и атаковала завал в ближней траншее.

Вскоре за изгибом траншеи, в перелеске, послышались характерные хлопки: подвезли минометы, тут же, холодея сердцем, узнал эти звуки Нелюбин. Он протиснулся между вырванным из земли искореженным ивовым матом и телами убитых, заглянул в ячейку. Там сидел на корточках, уткнувшись каской в плетеный мат, немецкий стрелок. Нигде никого. И тут из темных устьев землянки потянуло махорочным дымком и вроде послышались голоса. Если в землянку набились раненые, то сейчас для них они — лишняя обуза. Но и раненых не бросишь.

— Эй, в землянке! Выходи! — тихо окликнул он.

Там затихли. И через мгновение, шаркнув по сухим ивовым прутьям, из черного зева землянки в траншею вылетел какой-то небольшой предмет и волчком завертелся под ногами Нелюбина. Прежде чем мозг успел подать сигнал об опасности, тело Кондратам Герасимовича сгруппировалось, казалось, сжалось до размеров того самого предмета, который волчком вертелся на дне траншеи, издавая злое шипение замедлителя-воспламенителя, и пружинисто выпрыгнуло за бруствер, распласталось по земле осенним серым листком. Взрыв потрянул ивовые маты, осыпал ротного землей. Он отряхнулся, огляделся и пополз к землянке верхом. Если они бросят еще одну гранату, то она полетит туда же, в траншею. Немцы устраивали свои землянки и блиндажи несколько иначе. И вход, как правило, вырезали с зигзагом, с тупиком, а потом еще ступенька вниз. Так что бросавшему гранату пришлось подползать к повороту. А из-за поворота, да когда над лазом нависает козырек накатника, вверх гранату не бросишь.

— А ну вылазь! Гранатометчики, ектыть! А то и я сейчас вам брошу! — окликнул Нелюбин и постучал затыльником приклада по бревну накатника. — Живо всем в траншею!

Из черного зева показалась голова в родной красноармейской каске и удивленно произнесла:

— Ротный?! Ты?! А мы думали...

— Сколько вас? Кто старший? Раненые есть?

— Старший вроде я — младший сержант Пиманов. Со мной трое моих бойцов: Морозов, Шилин и Чебак. Все ранены. Вот ждем...

— Чего ждете? Когда германец вас на кофей пригласит? Оружие не бросили? Двигаться можете?

— Да движимые вроде все. Перевязались вот. Оружие при нас.

Младший сержант Пиманов был незнакомый. Или из пополнения, которое поступило накануне форсирования Днепра, так что Нелюбин не успел запомнить этого отделенного. Или из тех рот, которые были потоплены пикировщиками вчера утром. Выяснить его принадлежность было некогда, и Нелюбин приказал выходить в траншею.

Все четверо действительно были в бинтах. Один опирался на винтовку и охал. Повязка на бедре темнела багровым пятном.

— Бежать можешь? — кивнул Нелюбин раненому.

— Если потихоньку...

— Потихоньку знаешь, куда бегают?.. Прорываться надо, ребяташки. Вот сейчас всех соберем и пойдем на прорыв.

Раненый в бедро опустил голову. Его товарищи молча посматривали на него как на обреченного.

— Как твоя фамилия? — спросил его Нелюбин.

— Морозов, — ответил тот. Голос его дрожал.

— Отвечай по уставу.

— Рядовой Морозов, первый взвод Шестой роты второго стрелкового батальона, товарищ старший лейтенант.

— Ну вот, Морозов, ты пока боец, а не раненый. Раненым будешь, когда мы тебя в санчасть определим. Понял? — И Нелюбин похлопал Морозова по плечу. Почувствовал, как тот дрожит всем телом, будто сейчас его крутила не рана, а малярия. И подумал: значит, эти из второго батальона.

— Не бросите, товарищ старший лейтенант? Не бросите меня? — торопливо спрашивал Морозов.

— В Седьмой роте, боец Морозов, никогда раненых не бросали.

— Спасибо вам, товарищ старший лейтенант. Я о вас маме напишу. Они за вас, товарищ старший лейтенант, всем хутором молиться будут. Правда. Материнская молитва крепкая. Правду вам говорю... — Голос Морозова западал.

— Ладно, ладно, Морозов. Винтовку нести сможешь?

— Она мне вместо костыля. Пускай при мне будет.

Теперь, когда все поняли, что плацдарма нет, что с минуту на минуту предстоит решающий бросок на прорыв, в душе у каждого метался, как тяжелая днепровская вода, страх. А что если прорыв не удастся? Да и куда теперь прорываться? Своих-то на правом берегу нет. Везде немцы. И они вот-вот расправятся с остатками батальонов и примутся зачищать местность. Но уверенность старшего лейтенанта, появившегося в траншее невесть откуда, возвращала самообладание, укрепляла надежду, что он действительно сможет их вывести.

В траншею спрыгнул связист Звягин и еще несколько человек.

— Ну вот, старлей, накрылся наш плацдарм медным тазом. — Капитан-артиллерист стоял, привалившись к плетню и мучительно, с тошнотой, сплевывал тягучую слюну. — Почему покинули позиции в овраге? Почему мы оказались без прикрытия?

— Помолчи, капитан. Приказ комбата — атаковать траншею. Вот мы и атаковали. Приказ выполнен. Траншея в наших руках.

— Да кому она нужна, твоя траншея! Плацдарм просрали! Знаешь, что нам с тобой за это светит? В лучшем случае «Валентина». А скорее всего, шлепнут на месте как не обеспечивших переправу основных сил полка. За полком должна была переправляться вся дивизия. Понял теперь, окопная твоя душа, что нам светит? Всех собак на нас и повесят.

— Ну, тогда иди к ним! — закричал вдруг Нелюбин и толкнул капитана-артиллериста в грудь стволом ППШ. — Иди! Они примут по-другому! Ни «Валентины», ни скорого суда. Допросят, вытряхнут из тебя, как из мешка с дерьмом, все, что имеешь и знаешь, а потом отправят в тыл, за колючку с ежедневной баландой. И не забудь консервную банку с собой прихватить!

В траншее повисла тишина. Разговор двух офицеров ничего хорошего не сулил ни самим офицерам, ни сгрудившимся вокруг них бойцам.

— А зачем — консервную банку? — тихо проговорил капитан-артиллерист.

— Чтобы баланду хлебать. У тебя же котелка нет. Погибнешь сразу. От голода околеешь.

— А ты что, был в плену? Говоришь так...

— Был. И в плену был, и в лесу был, и в штрафниках ходил. Так что, капитан, возьми

себя в руки, найди оружие и давай думать, куда прорываться будем. Всем приготовиться, проверить оружие и распределить между собой раненых. Готовность — пять минут. Исполнять!

Национальные, расовые, религиозные условности для пули были пустым звуком. Она не знала никаких границ. Свобода, не ограниченная ничем. Было от чего прийти в восторг. Хотя изготовлена она была в германском городе, на военном заводе. Она уже забыла, когда это произошло. Кажется, в 1936 году. Ну да, в тридцать шестом. Ведь на тыльной части гильзы, которую она покинула в ту памятную ночь, вылетев в пространство войны через тесный канал Schrandeu, имелась маркировка: «p25 s 10 36». Гильза — это не просто оболочка, кусок ненужного теперь уже металла, о котором можно не вспоминать. Гильза — часть родины. Так же, как и Schrandeu. Они дали ей силу и жизнь. И это была не просто жизнь, а жизнь среди смерти.*

Глава четырнадцатая

Когда в стороне станции все утихло, Бальк вывел русскую из ущелья. Теперь он знал, что ее зовут Анной. Его это несколько удивило, потому что точно так же звали его двоюродную сестру, которой было двенадцать. Она еще училась в школе и жила с семьей в соседнем городке. Старший брат Анхен Норберт Тепельман был призван еще в сорок первом и воевал на Южном фронте в одной из горно-стрелковых дивизий вермахта.

Русская хорошо понимала Балька. Он это понял сразу по ее глазам и реакции на его фразы. В Германии она жила около года и уже сносно говорила по-немецки. Бальк узнал, что прибыла она из-под Новгорода. Это в полосе действий группы армий «Север». Работает в порту. Живет в бараке рядом с баракком французов.

Анна сильно отличалась от тех девушек, которых Бальк видел в России, проходя маршем по деревням и небольшим городкам. Когда батальон останавливался на временный постой где-нибудь вблизи деревни или занимал оборону по берегу речушки или на опушке леса, им тут же зачитывали приказ: из расположения роты ни шагу, любые контакты с местными жителями будут караться как воинское преступление. Это останавливало самых рьяных, знавших толк и в сале, и в самогоне, и в русских женщинах. Даже фельдфебель Гейнце, самый неукротимый и самый опытный по этому виду трофеев, только издали поглядывал на серые, землистые кровли дальних или ближних домов и посмеивался. Конечно, он вскоре увиливал из расположения. Повод, как всегда, находился. И назад возвращался в полночь, не раньше. Бросал под голову узел, от которого вкусно пахло домашними припасами, и тут же засыпал сном праведника. Но такие вольности были позволены немногим. Даже не все ветераны отваживались нарушить приказ старика. Просто Гейнце было наплевать, вручат ему от имени фюрера очередной крест или отменят перед строем.

А теперь в один миг упали все преграды. Формально фузилер Бальк нарушил не просто один из запретов нацистов, но и законы Рейха, вступил в интимную связь или физическую близость с неарийкой, представительницей низшей расы. Он не знал, как это назовут в полицейских следственных документах и на судебном разбирательстве. Но если их поймут здесь, в этой пещере у ручья, им конец. Анну просто избыют до смерти, уже потому, что она, возможно, приняла его семя. А его, в лучшем случае, после суда отправят назад, на Восточный фронт, в «отряд вознесения»^[12].

— Анна, нам нужно уходить отсюда немедленно, — сказал он и начал быстро собирать ранец.

Кое-что из продуктов он сунул ей в руки. Она прижала это к груди и смущенно улыбнулась. Он мельком взглянул на нее: в улыбке Анны была благодарность.

Уже опускались сумерки. Он вылез на край оврага и осмотрелся.

На станции все еще растаскивали завалы. Возле вокзала стояли пожарные машины. Шланги лежали на брусчатке. Из здания через пустые оконные проемы, черные от смолистой копоти, все еще валил дым. Видимо, внутри что-то продолжало гореть. Да, подумал Бальк, американцы наделали дел. Самолеты у них не хуже, чем у русских. Все работы на станции велись с тщательным соблюдением светомаскировки. Только возле стрелки работала электросварка. Видимо, там особенно сильно пострадали рельсы, и их необходимо было срочно отремонтировать. Там уже стоял под парами исправный паровоз и солдаты, возможно, из числа уцелевших отпускников, вручную перекатывали вагоны,

формируя новый состав.

— Анна, прощай, — сказал он, указывая ей в сторону станции. — Видишь, я должен ехать. Иначе я не попаду домой.

Она закивала и сказала:

— Я понимаю, Арним. Прощай. Я тебя буду помнить.

— Я тебя обязательно разыщу.

Они крепко обнялись, чувствуя, как тепло их тел проникает через одежду и сливается в единое тепло.

— Когда, Арним?

— Когда закончится война. Когда все это закончится, я тебя обязательно разыщу, Анна, — сказал он твердым голосом, как произносят клятвы.

Она закивала в ответ, едва сдерживая слезы.

— А когда она закончится? — спросила девушка, когда он уже шагнул в сторону станции.

Бальк обернулся:

— Еще не скоро. Но я тебя обязательно разыщу. Знай это.

Ближе к рассвету рабочие местного депо, строительная команда, русские и польские военнопленные и отпускники, основную часть которых составляли солдаты «Великой Германии», наконец, расчистили пути, отремонтировали рельсы, и к искореженному перрону подошел короткий состав из пяти пассажирских, двух грузовых вагонов и одной платформы с зенитной установкой.

«Разве это я мечтал увидеть на родине, — думал Арним Бальк, сидя у окна вагона. — Теперь уже и здесь падают бомбы и гибнут от пулеметного огня люди. И не только военные. А значит, и его родной Баденвайлер, возможно, подвержен не менее яростным атакам авиации союзников». К беспокойству за судьбу матери и родственников прибавлялось другое, такое же сильное. После встречи с русской... Бальк вдруг понял, что снова хочет видеть ее.

Он открыл глаза. В приглушенном свете плафона, скудно освещавшего проход, виднелись ноги лежавшего на полке соседа. На ногах драные носки, которые издавали крепкий мужской дух натруженных ног. Никого из находившихся рядом это обстоятельство не смущало. Там, на Русском фронте, они нанюхались не такого. Бальк почему-то вспомнил фельдфебеля Гейнце. Теперь, после гибели командира расчета Штарфе, самым надежным в их взводе остался только он, долгожитель Гейнце, которого не только в роте, но и во всем Третьем батальоне уважительно называли *папаша Гейнце*. И только с ним теперь можно было поговорить откровенно, а именно о том, в какое дерьмо они попали. Папаша Гейнце никогда не одергивал любителей поговорить вольно. На идеи наци ему было наплевать. Да и в то, что после победного окончания войны можно будет пожить или выгодно устроить свои дела за счет побежденных, как о том толковали многие, он не верил. Папаша Гейнце, воевавший уже больше четырех лет, был реалист, и мечтал только об одном: вернуться домой, к семье, в собственной шкуре, чтобы пронести ее еще лет сорок. «С двумя руками, с двумя ногами. Но главное, Бальк, — любил повторять он, — не потерять голову. Потому что стоит ее потерять, руки и ноги отлетят сами, в первом же бою! Запомни это, сынок!»

Все они, кто старше тридцати, называли его так. И Бальк привык. Потому что «сынок» они произносили без какого-либо оттенка пренебрежения или презрения. Просто он был самым молодым солдатом в роте.

Ноги штабс-ефрейтора из «Великой Германии», однако, пахли очень сильно. Правда, они имели точно такой же дух, что и ноги какого-нибудь самого распоследнего шотце из простой пехотной дивизии. Трупы на Русском фронте пахнут куда как отвратительнее. Да и в госпитале были места, где лучше не вдыхать.

То ли потому, что Бальк слишком сконцентрировался на бледных пятках штабс-ефрейтора, выглядывавших из рваных дыр пробитых носков, то ли солдат «Великой Германии» был слишком впечатлительным и вечерний налет «москито» и «тандерболтов» оставил в его душе глубокий отпечаток, сосед зашевелился, судорожно дернулся и закричал:

— Летят! Летят! — В неестественно-торопливой интонации было столько ужаса, что у Балька сжалось все внутри, и на мгновение он почувствовал себя в крохотной ячейке на берегу Вытебети. Словно на их линию зашли русские «летающие танки» Ил-2 и начали основательно распахивать из бортовых пушек и крупнокалиберных пулеметов.

Бальк тоже готов был закричать нечто подобное, но в темном углу, за ширмой плащ-палатки шевельнулась угловатая фигура другого солдата «Великой Германии» и послышался грубый окрик.

— Заткните плотку этому недоноску! — После чего в вагоне снова установилась сонная тишина, нарушаемая только храпом спящих.

И вдруг Бальк разглядел в сумраке вагона лицо русской Анны, ее плечи и руки, ее ладони удивительно женственной и правильной формы. Такие ладони он видел на картинах Дюрера. Он расслышал ее голос, который звал: «Арним! Арним!» Нет, нет, он вовсе не сходил с ума. Он переживал нечто иное, о чем давно тосковал. Еще в университете он мечтал познакомиться с девушкой, которая бы ответила тем же глубоким и искренним чувством. Но все сокурсницы, на которых он обращал внимание, видели в нем лишь успешного однокашника, у которого можно было всегда переписать конспекты пропущенных лекций. Конечно, думал он, его возлюбленной будет немка, стопроцентная арийка. Ведь в Катехизисе Гиммлера «Пятнадцать правил Ваффен СС» о крови германца сказано очень верно. Бальк выучил эту главу наизусть. «Кровь. В нашей крови мы несем священное наследие отцов и пращуров. Мы не знаем их, бесконечной чередой уходящих во тьму ушедших веков. Но все они живут в нас, и благодаря нашей крови живут вместе с нами в наших сегодняшних делах. Именно поэтому наша кровь священна. Вместе с ней наши предки дают нам не только плоть, но и сознание. Отрицать свою кровь — значит, отрицать самого себя. Вы обязаны передавать свою кровь потомству, поскольку являетесь звеном в цепи, тянущейся с незапамятных времен в отдаленное будущее. Эта цепь никогда не должна прерваться. Если же в вашей крови есть нечто порочное, что сделает ваших детей несчастными и бременем для государства, то ваш героический долг в том, чтобы разорвать связь времен. Кровь — носитель жизни. Благодаря ей вы несете внутри себя тайну творения. Ваша кровь священна, ибо в ней живет божественная воля».

Эти слова не были похожи на идеологемы эсэсовцев и «коричневых». Бальк всегда критически относился к тому, что говорили фюреры, хотя помалкивал об этом, не признаваясь в своих сомнениях даже родителям. Но Катехизис производил сильное впечатление. Многие его положения и мысли очень точно, без каких-либо пропагандистских швов, накладывались на историю Германии, на то, что он, студент исторического факультета Дюссельдорфского университета Арним Бальк, чувствовал в себе как немец.

Но теперь ладони русской Анны, ее шепот превращали пламенные фразы Катехизиса в ничто. Философия Гиммлера не просто отступала на некий дальний план, она буквально

рассыпалась. И этому внезапному разрушению, конечно же, способствовало то, что Бальк увидел и пережил на Востоке, в России. Даже глядя глазами солдата, он увидел многое. Может быть, потому, что он смотрел на окружающий мир, а точнее, на войну, на которую его призвали рядовым, глазами ветеранов роты Штарфе и Гейнце, а также своих университетских преподавателей. А они успели сказать ему многое.

И вот он, Арним Бальк, рядовой вермахта, встретив «остовку» и полюбив ее, прерывал ту священную цепь, *тянущуюся с незапамятных времен в отдаленное будущее*. Но порочна ли их связь? Что порочного в том, что они полюбили друг друга? Да, отношения их торопливы, сумбурны. В них много изъянов. Их отношения чисты и непорочны. В них нет корысти. В них взаимное влечение здоровых и красивых тел, насколько красива их юность. Война и разница положения — он солдат Германской армии, она ост-арбайтер из России, — конечно же, разделяет. Но лишь условно, с точки зрения идеологии нацистов. Фронт же показал другую правду. Окопы многим вправили мозги. И те разговоры, которые порой, выпив шнапса, вели унтер-фельдфебель Штарфе и папаша Гейнце, открывали глаза. Правда, очищенная от трескучих фраз Министерства пропаганды и ответственных за идеологическое обеспечение роты, которые время от времени появлялись в окопах, была более жестокой. От нее сильнее пахло потом и иными запахами войны, но в глубине она оставляла маленькую, едва заметную тропинку на родину, к семье, к жизни без бомбежек и смертей товарищей. К тому, что Арним Бальк пережил вчера, во время бомбежки английских и американских самолетов, в пещере на берегу ручья.

«Ваша кровь священна...» «Благодаря ей вы несете внутри себя тайну творения...»
«Связь времен...»

Но столь же священна и кровь Анны, и она в той же мере несет внутри себя тайну творения и мощь своего рода!

Штабс-ефрейтор на верхней полке вновь застонал во сне.

К обеду следующего дня Арним Бальк стоял в прихожей своего дома по Domstrasse на окраине маленького городка у подножия Альп и обнимал мать, задыхавшуюся от слез радости.

— Мама, мама, ну что ты плачешь? Я же вернулся. Вот видишь, все хорошо. — И он снова обнимал ее теплые плечи и трогал гладко зачесанные волосы.

— Сынок... Сынок... Сынок... — Шептала в ответ госпожа Бальк, и язык ее не мог осилить следующей фразы.

И только когда он отстранил ее и огляделся, увидел, что на плечах матери лежит черная накидка, которую она надевала давно, когда умерли вначале бабушка Арнима, а потом дедушка, он догадался, о чем она напряженно и мучительно молчала.

— Мама? — И он пристально посмотрел в ее глаза. — Мне давно нет писем от отца. С ним что-нибудь случилось?

— Да, сынок. Да. Папы больше нет. Сталинград...

Фрау Бальк не договорила последней фразы. Арним почувствовал, как она тяжелеет в его объятиях, и подхватил мать на руки. Он положил ее на диван. И в это время из смежной комнаты вышла девушка в белом переднике, держа на старом серебряном подносе стакан с водой.

— Вот, возьмите, пожалуйста. Это поможет фрау Бальк, — сказала с едва заметным акцентом.

— Помогите мне. Быстро. Держите стакан. Вот так. Спасибо. — И он невольно взглянул на девушку.

Фрау Бальк вскоре открыла глаза и зарыдала. Арним отвел ее в спальню. Когда она уснула, он вышел в гостиную. Девушка в белом переднике по-прежнему стояла возле кушетки с подносом в руках. Похоже, она ждала распоряжений.

— Вы кто? — спросил Бальк.

Мать ему однажды написала о русских работницах на ферме, о том, что одну из них она держит при доме, чтобы содержать комнаты в чистоте и порядке. Возможно, эта девушка и есть та самая прислуга по дому.

— Меня зовут Александрой. Я из России. — Девушка говорила тихо, ровным голосом, не поднимая глаз.

Он кивнул и после небольшой паузы выдавил из себя:

— Арним Бальк.

Девушка стояла в прежней позе, не поднимая глаз, и, когда он назвал свое имя, поклонилась в знак благодарности и покорности.

Пуля летела по лесу. Цели нигде не было. Но полет ее никогда не оставался бесцельным. Гул и сполохи передовой остались где-то позади. Однажды она облетела поле, уставленное скирдами соломы, и наполовину сожженную деревню. Из печных труб струился дымок. И его запах, и сизоватый цвет не имели ничего общего с тем, что привыкла видеть она каждый день. Изменив полет, пуля еще раз пронеслась над десятком нетронутых огнем крыш. Война ушла из этой деревни, разбросав по окрестным полям и пригоркам груды искореженного металла. Железо уже успело покрыться ржавчиной и выглядело среди рыжих трав осени совсем не грозно, а скорее нелепо. Это была земля, территория, где она была уже чужой и ненужной. Пуля набрала высоту и нырнула в лес. Неужели она здесь не найдет достойной цели? Неужели здесь люди уже забыли войну?

Глава пятнадцатая

Уже трое суток, день и ночь, поочередно сменяя друг друга через шесть часов, Воронцов, Радовский и Иванок сидели в засаде, которую устроили в том самом овражке, где Воронцов встретился с фуражиром Юнкерна. Но тот больше не появлялся. На четвертый день, рано утром, Воронцова сменил Иванок.

— Саш, а может, он маршрут поменял? Ходит теперь спокойно по другой тропе. А мы его тут, в этом сыром овраге караулим.

То, что человек Юнкерна сменил тропу, логике событий вполне поддавалось. Напоролись на Смерш. Значит, их пребывание уже обнаружено. Их ищут. Юнкерн ранен. Это — вторая причина для смены тропы и дополнительных мер предосторожности. И последнее — в тот раз, когда Воронцов подкараулил здесь Кличеню, тот тащил с собой два мешка продуктов. Возможно, тот поход в Андреевки был последним. Но это означает и другое: Юнкерн планировал перестрелку с патрулем Смерша. Воронцов понимал, что в его предположениях есть натяжка. Но если все так и есть, то, значит, никакой перестрелки возле Шайковки не было. Юнкерн просто избавился от Владимира Максимовича. А ранение самого Юнкерна? А еще два трупа? Но тут-то как раз все ясно. Владимир Максимович стрелок хороший, да и человек осторожный. И, если он что-то заметил за Юнкерном, то наверняка держал пистолет под рукой. Эх, Владимир Максимович, Владимир Максимович...

— Ладно, через шесть часов за тобой придем, — успокоил Воронцов сменщика. — Поищем другую тропу. Если она есть.

— Сейчас в лесу след человека найти не так-то просто.

— Это всегда найти непросто. Ладно, Иванок, заступай. А я прилягу. Через полчаса разбуди.

Обычно Воронцов уходил отдыхать на хутор. Отсыпался там на сене, в шуде. Но в этот раз решил сходить к Радовскому. Нужно было что-то предпринимать. Кличеня не появлялся. Возможно, там, в лесу, что-то изменилось. Радовский лучше знает повадки разведчиков и диверсантов «Черного тумана».

Через полчаса Иванок его разбудил. Воронцов продрог, лежа на подстилке из лапника и отсыревшего моха. Но спал крепко, как научился в окопах. Полчаса вполне стоили беспокойного сна всю ночь.

В ближнем ельнике перекликались сойки. Воронцов прислушался. Ничего особенного, стая кочевала по территории обитания, кормилась, переговаривалась. Ветер шевелил вверху остатки листвы. Лес жил обычной жизнью.

— Нынче много орехов. — Иванок похлопал по белой сумке, сшитой из парашютного шелка, лежавшей под головой. — Пока шел сюда, набрал. Детей в Прудках угощу. Маме оставлю.

— А ты что, куда-то собираешься?

— Я ж тебе не раз говорил. Вместе с тобой. Пройдешь переосвидетельствование, и — вместе. Туда... — И Иванок махнул рукой в сторону запада.

— Фронт — этот тебе не пионерлагерь.

— А то я не знаю, что такое фронт, — хмыкнул Иванок и хрустнул орехом.

— Ты своей наковальной особо не стучи. За версту слышать. Понял? И сумку листвой присыпь. Разведчик... Развесил парашют...

— Да я только попробовать. Смотри, какие хорошие нынче орехи! Полные, не червивые. Хочешь попробовать?

— Спасибо. По дороге наберу.

— Они под листьями. Под верхним слоем. Пощупаешь и сразу поймешь, где лежат. — Глаза Иванка вдруг приняли иное выражение. Воронцов увидел перед собой не того юркого партизана и хладнокровного снайпера, каким знал его в недавнем прошлом, а деревенского мальчишку, чем-то похожего на него самого. Но не нынешнего, а того, прошлого, из другой жизни, которая ушла в одно мгновение. Теперь, вспоминая и родное Подлесное, и разбросанные вдоль речки и по подгоричью дворы, и лица матери, сестер и всей родни, он иногда пытался вспомнить себя тем, пятнадцатилетним, беззаботным. Но не мог. Ничего не получалось. Вспоминалось многое: и извивы проселочных дорог, и мерцание разноцветных, отшлифованных песком гольшей на переезде через речку, и запахи огорода и нагретого солнцем пригорка, — только себя на нем он представить не мог.

И вот Иванок взглянул словно из прошлого. И Воронцов с какой-то затаенной, мгновенно возникшей благодарностью, которая могла так же мгновенно исчезнуть, иссякнуть, взял протянутую горсть орехов, молча повернулся и пошел краем оврага в сторону ельника.

Вначале он шел след в след, по старому наброду, оставленному здесь им самим и его напарниками, потом, выбравшись в ельник, вздохнул с облегчением и осмотрелся.

Война шла далеко от этой поляны, на которой вот-вот появится солнце и зальет ее всю, от верхушек елей и берез до муравьиных кочек. Война здесь даже не слышна. Только иногда, ранним утром, когда еще спит ветер, а не только лес, со стороны Шайковского аэродрома изредка доносились звуки тяжелых моторов. Правда, однажды торопливо и гулко простучали, как подкованные лошади по мосту, зенитки.

Запуск тяжелых моторов Ил-4 слышали в утренней прозрачной тишине обитатели многих окрестных деревень, в том числе и хутора Сидоряты.

Аэродром, летные казармы, стоянки и сами самолеты, ангары — были целью диверсантов «Черного тумана». Если только они одни...

Почему он до сих пор не дома, думал Воронцов. До Подлесного рукой подать. Там его ждут не дождутся, а он бродит по чужому лесу и кого-то выслеживает. Зачем ему чужая судьба? Интересы, желания и страхи? Чужой риск?

Воронцов сел на валежину, перегородившую небольшую полянку, перекинул на колени Пелагеин автомат и покачал головой, удивляясь своим мыслям и стыдясь их.

— А Зинаида? — окликнул он себя вслух. — А дети? Улита.

Воронцов улыбнулся, вспомнив лицо дочери, обрамленное белым старушечьим платком, доставшимся ей, видать, из старого сундука, ее внимательный взгляд, так напоминавший всегда глаза той, которая лежит теперь под песчаным холмиком, заросшим черничником на берегу озера. Когда приеду в следующий раз, решил он, привезу Улите платок и еще что-нибудь. Платок — обязательно. И ленты. Разноцветные, шелковые, чтобы она радовалась, что у нее такие красивые ленты. В следующий раз...

— В следующий раз, — повторил вслух и задумался над смыслом.

Всякая мысль, которая так или иначе касалась будущего, неминуемо обретала второй смысл. И тот, второй, затоплял настоящее, растворял в толще холодных и непросветленных вод радость настоящего. Старые солдаты, ломавшие не первую войну, говорили: на фронте живи минутой, не загадывай и на час, не откладывая в дальний карман махорку про запас, не

собирай трофеи. Жив, каша в котелке есть, глоток свежей воды во фляжке — тем и радуйся. Значит, жив. А это для солдата — главное. Это, по сути дела, все, что может солдат получить на войне. Остальное будет потом. Если это «потом» для тебя наступит. Пытался и он жить так, как учили старики. Нет, не получалось. Всегда что-нибудь мешало.

Вышло солнце, и лесная полянка сразу заполнилась тем скудноватым, но таким желанным и радостным теплом, которое случается порой в октябре, за неделю-другую перед наступлением ненастья. Воронцов привалился спиной к обломанному толстому суку и некоторое время смотрел в дальний угол полянки, выстланный яркой листвой орешника, еще не тронутой тленом. Похоже было на то, что там расстелили прямо по земле белые простыни, а их залило солнцем, и теперь, в одно мгновение, из белых они превратились в ослепительно-желтые. Неужели где-то идет война? Гибнут люди? Товарищи, с которыми он, курсант, а потом младший лейтенант и лейтенант Воронцов, вынес столько мук, что, казалось, всех их, бывших рядом с ним с сорок первого года и выживших, надо освободить от этого тягла, иначе не выдержит сердце. Вон и Петр Федорович заметил, что постарел, что не по своим годам приобрел характер. Как хорошо на родине... Боже, как хорошо! Вот и в Подлесном, должно быть, сейчас такая же тихая благодать кругом. И в лесу, и в полях. И — никакого Юнкерна, никаких диверсантов. И туман в пойме чистый, белый, настоящий. А не черный...

Воронцов закрыл глаза. Желтые прозрачные простыни стали исчезать. Но покоя это не нарушало. Напротив, наступало умиротворение, а тело окутывала теплынь и легкость. Воронцов не пожелал противиться новому состоянию. Его понесло, закачало по зыбким волнам... «А что, сынок, сладко спится на покосе? — Отец стоял в тумане, странно возвышаясь над ивовым кустом только верхней частью фигуры. — А вставать надо. Надо, сынок, вставать, — снова сказал отец. — Глаза светились радостью встречи. Так смотрят друг на друга родные люди, которые не виделись годы. — Солнце заспишь, роса уйдет. Сухую траву не укосишь». Ему хочется ответить, что не о том он сейчас говорит. Хочется подбежать, обнять. Живого. Но какие-то силы держат его немым и недвижимым. «Мать расстроишь, — снова проговорил отец. — Сестры плакать будут. Дом без мужика...» Почему он говорит такие слова? Почему в глазах такая тоска и боль? Ну что с того, что не успею скосить луг за эту зорю? Скошу вечером, когда выпадет новая роса... Луг наплывает высокой стеной травы, набрякшей дымчатой росой. Как хорошо стоит трава... Как удобно ее, такую, будет косить... А ему все еще не хочется вставать с мягкой духмяной подстилки. Только косье рогатой липовой ручкой, отшлифованной до зеркального блеска, больно впивается в спину чуть ниже лопатки. И зачем он положил косу рядом с собой? Это же опасно. Невозможно вытянуть ноги — обрежешься. Ноги затекли, по ним поползли мурашки... Посплю, посплю еще чуток. Подождет луг. Мать расстроишь... Мать придет из деревни, трава уже в рядах будет лежать. А сестрам с чего плакать? Мысленно он повторил еще раз последние слова отца: сестры плакать будут...

Воронцов очнулся так же неожиданно, как и задремал. «Вставай!» — крикнул отец и взмахнул рукой, будто намереваясь дотянуться до него и ударить... Он рывком вскочил с валежины. Сон еще держал. Показалось, что он резко выпрямил ноги и мгновенно начисто срезал их острой, отбитой с вечера и отточенной косой. Он рухнул на землю. И это его спасло. Короткая автоматная очередь, выпущенная с дальнего угла полянки, как раз оттуда, где сияли солнечные простыни, именно поэтому и миновала его. Пули обрубали ветки орешника на уровне плеч. Стрелявший целил в грудь, и стрелком он был хорошим. Но судьба

оказалась не на его стороне.

Падая на землю, Воронцов успел заметить человека в куртке и бриджах «древесной лягушки». Человек выглядывал из-за старой орешины и целился в него из немецкого автомата. Тотчас горячая шелестящая струя пролетела над головой, буквально в сантиметре от правого виска, и Воронцов понял, что стрелявший в него промахнулся. Но, видимо, это была уже вторая очередь, потому что первой «древесная лягушка» перебила ему ноги. Падая, он машинально снял автомат Пелагеи с предохранителя и, выкинув его вперед в правой руке, дал длинную слепую очередь. Автомат умолк, когда в рожке закончились патроны. Воронцов поднял голову и посмотрел туда, где оседал, изорванный его пулями, сизый пороховой дым. «Древесная лягушка» лежала под орешинной бурым холмиком. Холмик еще подавал признаки жизни, но движения были беспорядочны и неосмысленно-хаотичны. Попал, сразу понял Воронцов. Теперь надо было позаботиться о себе. Что с ногами? Он подтянул ступни и посмотрел на сапоги. И, не обнаружив ни на носках, ни на голенищах характерных следов, оставляемых пулями, вдруг понял, что с ним. Он с радостью задвигал пальцами, разгоняя мурашей, вскочил на ноги и, хромя, забежал за ближайшее дерево и начал перезаряжать автомат. Кто там, лихорадочно соображал он, ставя автомат, заряженный новым рожком, на боевой взвод, Кличеня или кто-то другой? Если Кличеня, то, скорее всего, он один. А если не Кличеня...

Через несколько минут напряженной тишины со стороны брода слышались осторожные шаги. Воронцов узнал Иванка. Шаги затихли вблизи полянки, где-то совсем рядом. Разведчик есть разведчик, подумал Воронцов о напарнике, и осторожен, и терпелив. Теперь будет выжидать. Замер и Воронцов. В такую минуту со стороны лощины можно было ждать не только Иванка. В группе Юнкерна тоже народ бывалый, натасканный. Но то, что в зарослях орешника и бересклета замер Иванок, Воронцов знал точно. Просто стоило подождать еще минуту-другую, не подоспеет ли на выстрелы еще кто-нибудь.

Воронцов осторожно, стараясь двигаться медленно, плавно, как вода в тихой реке, выглянул из-за дерева. Автомат Пелагеи стоял на режиме автоматической стрельбы.

— Сань! — тут же слышалось из кустов. — Ты живой?

Иванок его заметил первым. Сейчас он держал Воронцова в прицеле трофейного карабина, а Воронцов так и не смог уловить ни единого движения. Даже ветка нигде не качнулась, листок не шелохнулся.

— Живой! — откликнулся Воронцов. — Пройди по кругу, посмотри, нет ли где следов. Потом — сюда.

— Кого стрельнул? Кличеню?

— Еще не знаю.

— Вот сволочь, на меня не пошел. — И Иванок зашуршал листвой, обходя полянку.

«Древесная лягушка» лежала там, где застала ее длинная, во весь рожок, очередь. Ствол и затвор Пелагеинового автомата были теплыми. И запах сгоревшего пороха все еще стоял над полянкой, запутавшись в сухих будыльях травы и раскидистых ветвях орешника. Где-то позади, в стволах берез и осин застряли пули, выпущенные из автомата, который лежал теперь в нескольких шагах от Воронцова. Если бы хотя бы одна изменила траекторию полета... Сейчас бы Кличеня, или кто там, в десантном камуфляже, стоял над ним и разглядывал его неловкую позу наповал срезанного точной очередью. А земле, которая сейчас равнодушно впитывает кровь убитого, все равно, чью поглощать и растворять среди корней. И самим деревьям, запрокинутым голыми ветвями в небо, все равно, кто лежит под

ними, человек в камуфляже «древесной лягушки» или кто-то другой.

Там, в окопах, Воронцов и не задумался бы над такими мелочами. Там они ничего не значили.

Он так и не подошел к убитому, пока из орешника не появился Иванок.

— Ну что, твой лось? Или не твой? — спросил он Иванка.

— Он, Кличеня. Вот скотина. Готов. — И Иванок повернул носком сапога запрокинутую голову убитого.

Спустя час они вернулись на хутор.

Воронцов протянул Радовскому автомат Кличени, запасные магазины и сказал:

— Ну что, пойдём?

— Надо идти, — ответил Радовский.

Из-за сосен вышел монах Нил и долго смотрел вслед, пока их фигуры не превратились в тени, исчезающие среди подлеска.

Пуля летела над знакомыми местами. Нет, война отсюда не ушла. Самолеты взлетали с тылового аэродрома. Они тяжело отрывались от земли и ложились на курс в сторону заходящего солнца. Они несли тонны бомб. И тысячи пуль дремали в промасленных лентах скорострельных пулеметов, расположенных в кабинах стрелков. Работа войны продолжалась и здесь. Слишком здесь земля пропиталась кровью солдат. Пройдет год-другой, и, если война сюда не вернется, вырастут новые травы, затянутся песком и глиной окопы и воронки. Неужели и ей тогда валяться где-нибудь на нагретом солнцем песке? Или ржавеет в мокрой от дождя глине на коровьем выпасе?

Глава шестнадцатая

Старший лейтенант Нелюбин оглянулся на овраг. Там было тихо. «Неужели никого не осталось, — с болью подумал он о своей роте. — Не может быть. Наверняка кто-нибудь из пулеметчиков мог уйти к берегу. Но что с батальоном, тоже неизвестно. Овраг, похоже, не занят никем. Немцы почему-то не спешат входить в него. Возможно, побаиваются, что он пристрелян с левого берега тяжелой артиллерией. Медлят. Выжидают. Им лишние потери ни к чему».

— Звягин, — позвал он связиста, — надо все же сходить в овраг. Посмотри там хорошенько. Может, кто остался? И рацию заведи.

— Да кто там может остаться, старшой? Никого там уже нет. Вон, тихо как... А рация разбита! К чему она нам? Для отчета, что ли? Что не бросили? Лучше гранат побольше взять, чем эту бандуру таскать!

Звягин, конечно же, боится. Что ж, любой бы испугался, окажись он на месте того, кому ползти сейчас через открытое пространство, а потом искать в овраге раненых.

— Эх, Кондратий Герасимович... — вздохнул связист, теребя ремень немецкой винтовки.

— Ты пойми, Звягин, что мне послать туда, кроме тебя, больше некого. А рацию закопай. Раз она разбита, закопай. Лопата у тебя есть?

— Да есть у меня лопата! — зло стиснул зубы связист. — А если я — отсюда, а они — оттуда?

— Тогда уходи. Мы прикроем. И вот что, на всякий случай: собираемся вон там, за перелеском. Там тоже должен быть овраг. Прорываться будем туда, к городу. К соседям.

Капитан-артиллерист вытащил из кобуры ТТ, проверил обойму, сказал:

— Я с ним пойду, старлей. Только вы без нас не уходите. Прикройте.

— Погоди-ка. — И Нелюбин снял с плеча немецкий автомат, который подобрал возле блиндажа. — На вот, возьми. И Звягина держись. Вы там, в артиллерии... Ну, идите.

Немцы молчали. Стрельба прекратилась и в овраге.

— Сейчас перегруппируются и пойдут траншеей и овраг прочесывать. — Младший сержант Пиманов сдвинул на затылок каску, прислушался.

— Конечно, пойдут, — отозвался Нелюбин. — Но они нас будут ждать там, перед оврагом. А мы пойдем в другую сторону. Так что давай, Пиманов, готовь своих людей к прорыву. Гранаты соберите. Там все сгодится.

«Только бы Звягина и капитана не прихватили в овраге, — подумал он». Хотелось курить. Нелюбин вдруг вспомнил, что давно не курил.

Бойцы младшего сержанта поползли по траншее. Нелюбин приказал им собрать в одну кучу все, что найдут и что может пригодиться в бою. Вскоре они вернулись с ящиком, из которого торчали зеленые колпачки штоковых гранат. Нелюбин тут же пересчитал их и сказал:

— Знаете, как пользоваться?

— Приходилось уже, — ответил за всех Пиманов.

— Имейте в виду: у немецкой «толкушки» сильное замедление. Когда вырвете шнур, досчитайте до десяти и бросайте. В самый раз будет. Разбирайте — по три штуки на брата. — И посмотрел на Морозова. — А ты зачем берешь? Я на тебя не рассчитывал.

— Одну возьму, — твердо сказал Морозов.

Вскоре на краю оврага Нелюбин заметил шевеление. Присмотрелся — Звягин. Ползет торопливо, с настроением. Но почему-то один. Подполз, мешком свалился в траншею.

— Ну? Что там? Где капитан?

— Там, старшой, Первушин группу собрал. Они пойдут прямо оттуда. Я им все рассказал. Как и куда прорываться. Замполит сказал, что оттуда им легче будет добежать до леса. Капитан остался с ними. У них трое раненых. Минометчики понесут Сороковцова.

— Живой, значит, Сидор?

— Живой. Говорит, будь, мол, я маршалом, сровнял бы этот берег с землей из тяжелых минометов.

— Правильно он говорит. А немцы что?

— Тихо пока. Сигнал на прорыв — три удара лопаты о лопату. Минут через десять, так мы договорились.

— Ладно, ребята. Готовность пять минут. Шилин и ты, Чебак, возьмете Морозова. Раненых не бросать ни при каких обстоятельствах. Пиманов, ты пойдешь последним, в прикрытии. Дистанцию держи шагов десять-пятнадцать, не больше. Звягин и все остальные — со мной, впереди. Когда поднимемся, не стрелять. Гранаты бросать — только по моей команде. Всем все понятно?

— У меня вопрос, товарищ старший лейтенант, — сказал Пиманов. — Там, на опушке, вроде как позиция минометчиков.

— Точно так, Пиманов. Вот на них, ектыть, и пойдём. Минометы не обойдешь. Только хуже подставимся. А если успеём подбежать к ним шагов на сто, то там уж, последние, как-нибудь на злости пролетим. Перед минометной батареей гранаты готовыте и, по моему приказу, — разом! Бросать с задержкой, как я сказал. А то как раз на свои взрывы и набежим.

То вроде рассветать стало, проступил из темени лес вдаль, очертания одиноко стоящей риги и правее дворы деревни. То опять стемнело, сомкнулись плотные сумерки и над лесом, и над деревней. И Нелюбин, потерявший счет времени, догадался, что рассвет был не настоящим. Теперь, когда стрельба утихла и немцы, сбросив Третий батальон в Днепр, реже стали кидать в небо осветительные ракеты, ночь вернулась назад. Нелюбин взглянул на часы: какая ж ночь, спохватился он, уже утро, и вот-вот действительно начнет развиднеть. Что ж там замполит тянет? И тут же с беспокойством смерил взглядом расстояние от оврага до леса: Первушину со своими бежать значительно дальше, чем им, затаившимся в траншее в полутора сотнях шагов от немецкой минометной батарее.

В какое-то мгновение Нелюбин уловил знакомый шелестящий звук и сначала ушам не поверил. Но первая серия тяжелых снарядов легла в районе деревни и развилки дорог. Затем взрывы начали корежить пустырь и вырубать рощицу, где вечером накапливались немцы и где теперь порывивали моторы. Артиллеристы вели огонь вслепую, по площади, скорее всего, пользуясь данными, которые капитан успел передать на левый берег накануне. Самое время идти и нам, подумал Нелюбин и тут же увидел, как из-под обрыва оврага поднялись несколько человек и побежали через луг к одинокой риге. Стука лопат они не услышали.

— Ребята! За мной! — крикнул он и первым выскочил из траншеи.

Они бежали к лесу. Стена взрывов с каждой минутой приближалась к берегу, к немецким траншеям, проходившим по обрыву. Видимо, за Днепром, узнав о неудаче Третьего батальона, решили основательно обработать плацдарм из тяжелых гаубиц.

Первушин со своими тоже бежал молча, без стрельбы. Нелюбин, чувствуя внутри неприятный холодок и колыхающееся под самым горлом сердце, время от времени поглядывал на группу замполита, которая двигалась немного позади и правее. Если гаубицы сейчас перенесут огонь ближе к Днепру, то Первушин как раз попадет под разрывы тяжелых снарядов.

И в это время ожили сразу два немецких пулемета. Один бил в туман, в сторону реки, а другой ударил во фланг бегущим. Нелюбин выхватил гранату, быстро отвинтил колпачок и, нащупав выпавший фарфоровый кругляшок на конце шнура, крикнул связисту:

— Звягин! Гранату по пулемету!

Он вырвал шнур, скорее почувствовал, чем услышал, характерный щелчок воспламенителя, пробежал несколько шагов прямо на пулемет, чтобы не промахнуться, и бросил гранату в сторону клочковатого пламени, рвущегося им навстречу. Еще одну гранату бросил кто-то из людей Пиманова. Три вспышки на миг озарили угол вздыбленного вверх бруствера, головы пулеметчиков, куски досок, разлетающихся в разные стороны, комья земли.

Нелюбин вытащил из-за ремня вторую «толкушку» и побежал дальше, уже не оглядываясь на пулеметный окоп.

До леса, где метались тени минометчиков, оставалось метров семьдесят. Немцы то ли разворачивали навстречу бегущим свои «трубы», то ли занимали позиции для отражения внезапной атаки в пехотном порядке. Нелюбин оглянулся. Бежали все. Пиманов не отставал. Морозова тащили двое его товарищей. Значит, пулеметчик выцеливал не их. И тут же увидел, как группа Первушина, сильно поредевшая, разделилась. Одни продолжали бежать к лесу, а другие залегли и сразу же открыли огонь в сторону ожившей немецкой траншеи.

— Гранаты к бою! — крикнул Нелюбин и выдернул шнур, выпавший из длинной рукоятки «толкушки».

Трофейные штоковые гранаты ему нравились тем, что они были незаменимы при наступлении. Бросать их можно было с дальнего расстояния. Длинная ручка способствовала широкому размаху. И вот полетели, кувыркаясь в сером пространстве утренних сумерек пять или шесть гранат. Через мгновение там и там вспыхнули взрывы. Одновременно захлопали сразу несколько минометов. Мины полетели в сторону оврага. Они уже не могли причинить вреда идущим на прорыв. И группа Нелюбина, и группа Первушина миновали зону огня.

Дальше все происходило с лихорадочной быстротой. Подбежали вплотную. Бросили еще несколько гранат. Вспышки одиночных винтовочных выстрелов среди берез. Крики на немецком языке. Потом:

— Ломи, ребята! Наша берет!

Пока катались по земле, кромсая кинжальными штыками и саперными лопатками друг друга, подбежали человек пять из группы замполита. Навалились второй волной. Крики. Удары тела о тело. Стоны. Хрипы. Лязг металла о металл.

— Уходим! Ребятюшки, уходим! — подал голос старший лейтенант, дрожащими руками засовывая в брезентовый чехол свою неразлучную саперную лопатку.

Как он ею управлялся, когда один на один схватился с немецким минометчиком, вспомнить он уже не мог ни в те минуты, ни потом, ни спустя годы.

Сознание словно намеренно выключало некоторые эпизоды. Потому как человеческая психика могла и не вынести.

Он посмотрел на сапоги, забрызганные то ли росой, то ли еще чем-то, мельком взглянул

на немца с нашивками СС и лейтенантскими погонами. Немец был таким же худощавым, только разве что ростом немного повыше. Лица разглядеть невозможно, оно было срезано ударами саперной лопатки.

Собрались они в небольшом овражке, заросшем частым кустарником, на юго-западной опушке леса. Звягин, младший сержант Пиманов, Чебак и Морозов. Шилин и еще трое из его группы не вышли. Через минуту подошли, хрипя и кашляя от усталости, пятеро из группы лейтенанта Первушина.

— Где замполит? — не увидев лейтенанта, первым делом спросил Нелюбин.

— Там. В прикрытии остался. Вместе с Фаткуллиным. Если бы не они...

Так вот кто прикрывал их огнем, догадался Нелюбин, прокручивая в сознании эпизоды боя. Когда немцы открыли огонь из траншеи, по ним ударил пулемет и несколько автоматов лейтенанта Первушина. Нелюбин тогда еще не знал, что замполит сам остался в заслоне. Именно они не позволили немцам высунуться из траншеи, когда в березняке началась рукопашная. Если бы к минометчикам подоспела подмога, остатки Седьмой роты лежали бы там.

Впереди, в стороне города, за косым лугом, поросшим редким кустарником и обрамленным ровной грядой то ли лесополосы, то ли узкого перелеска, разгорался бой.

— Надо идти, старлей, — сказал капитан-артиллерист, глядя на мерцающие сполохи за лесополосой.

— Подождем еще немного. — И Нелюбин окинул усталым взглядом свое невеликое воинство, отягощенное тремя ранеными, которых надо было нести, потому что сами идти они не могли.

— Пойдем. А то и за нами увяжутся. Им тут, в тылу, блуждающие группы не нужны.

— Сейчас пойдем. — И Нелюбин прислушался к лесу.

Ничего там он не услышал. Никто их не догонял, никто не окликал. Стрельба за лесом тоже затихла. Только моторы продолжали урчать в стороне деревни.

Немцы, сбив батальон и Седьмую роту с захваченного три дня назад плацдарма, прочесывали овраг, траншею и береговую косу, накапливали силы, стягивали из тылов к деревне танковые части и мотопехоту. Нелюбин, уводя жалкие остатки роты в сторону города, где держал захваченный накануне плацдарм офицерский штрафной батальон, еще не знал, что все эти передвижения под покровом темноты проводятся с целью срочной перегруппировки сил и последующего удара по плацдарму, который русские упорно удерживали в районе города. Город был основательно укреплен, подготовлен к длительной обороне и являлся одним из ключевых опорных пунктов на линии «Восточного вала».

На войне всякая цель — это цель. Пуля никогда не оглядывалась на изувеченное тело. Не интересовалась, покинула ли его жизнь или судорожное дыхание все еще обнадеживало сраженного солдата... Возможно, многих из них боевые товарищи и санитары-носильщики утаскивали на перевязочные пункты. Они радовались, что им повезло: во-первых — остались в живых; во-вторых — предстояла дорога в тыл, в госпиталь, под присмотр медсестер. А там, возможно, отпуск на родину. Но потом начиналось все сначала. Пуля встречала старых знакомых. Иногда в тех же местах или похожих на прежние. Все траншеи похожи, как будто их отрывал один и тот же батальон, который всегда неминуемо погибал, а потом снова пополнялся.

Глава семнадцатая

Они прикопали тело Кличени под орешинной. Иванок притоптал дерн и сказал, глядя под ноги:

— Жаль, что ты не на меня вышел, Кличеня.

Никто не поддержал разговора. И Иванок, словно уязвленный молчанием Воронцова и Радовского, усмехнулся:

— Похоронили. Как человека. А по мне пускай бы его дикие собаки растащили да вороны.

Воронцов подал ему винтовку и сказал:

— Хватит. Много говоришь.

Они взвалили на плечи мешки Кличени и вскоре отыскали тропу, которая должна была привести их в лагерь Юнкерна.

Пройдя километра три, сошли с тропы в сторону и остановились на короткий привал. Иванок тут же развязал лямку вещмешка и достал кусок сала, завернутый в кусок парашютного шелка.

— Давайте-ка немного подрубаем, — предложил он.

Воронцов вытащил десантный нож и протянул Иванку.

В том же вещмешке нашелся и хлеб.

— Кто-то в Андреенках у них свой.

— Это уже не наше дело. Андреенками пускай Смерши занимаются.

— И все-таки узнать бы не мешало.

Воронцов сразу вспомнил седобородого, но Иванку ничего не стал говорить. За сестру тот и так готов был расстрелять каждого третьего в Андреенках.

— Хороший трофей, — как бы между прочим сказал Радовский, когда Воронцов убрал нож в полевую сумку.

— Память об Извери.

— О ком?

— Речушка такая есть. Здесь, неподалеку. Варшавское шоссе пересекает. Многие мои однокурсники там остались. Ну что, пора?

Они взвалили мешки на плечи и снова вышли на тропу.

Вскоре показалась знакомая полянка. Они залегли в кустах смородины. Долго лежали, слушали лес. Наконец в зарослях ольховника услышали приглушенные голоса. Разговаривали двое. Переговаривались тихо. Курили. Сигареты курили немецкие. Ветер доносил запах табачного дыма. Несколько раз произнесли имя Кличени.

— Ждут своего снабженца, — шепнул Радовский Воронцову.

В ольхах снова наступила тишина. Погодя на полянку вышел коренастый крепыш в камуфляже «древесной лягушки».

— Его зовут Глыба, — узнал коренастого Воронцов.

— Нож, — коротко шепнул Радовский и протянул руку.

Через несколько минут Радовский вышел из ольховых зарослей и подал знак рукой. Когда Воронцов с Иванком подошли к нему, он сгребал листву и наваливал ее на опрокинутое в смородиновый куст тело часового. Воронцов успел увидеть рану: сзади, на шее, рядом с первым позвонком едва заметная косая полоска. Точно так же была вырезана

разведка Шестой курсантской роты два года назад на Извери. Но вряд ли там был Георгий Алексеевич. В то время он еще служил переводчиком в одном из штабов группы армий «Центр». Но, вне всякого сомнения, курсы он окончил те же.

— Иванок, следуй за нами. Дистанция — десять шагов. Твоя задача — прикрывать нас.

Они приготовили гранаты. Тропа под ногами была хорошо утоптана и позволяла двигаться совершенно бесшумно. Они прошли шагов пятьдесят. Впереди показалась не то копань, не то карьер, не то просто овраг с песчаным оползнем. Тропа расходилась. Радовский пошел в сторону песчаного обрыва, а Воронцов свернул вправо. Иванок залег за камнем и приготовил винтовку.

Гранатные взрывы разбросали лесную тишину почти одновременно. Тяжело, будто гаубичный снаряд, ухнула противотанковая, а затем три взрыва послабее.

Тела убитых «древесных лягушек» они стащили в землянку. Быстро засыпали вход. Выдернули трубу и заложили дерном печное отверстие. Ни Юнкерна, ни радиста среди убитых не оказалось.

— Вот что, Александр Григорьевич, — сказал Радовский, вытирая со лба грязный пот, — вы с Иванком возвращайтесь на хутор. Сутки пробудьте там. Затаитесь и ждите. А я подожду Юнкерна здесь.

— Послушайте, Георгий Алексеевич, дело сделано. Юнкерн здесь больше не появится. Да и вблизи аэродрома ему оставаться опасно. Теперь он уйдет. Пусть...

— Тот, кто уходит живым, имеет скверную привычку. Знаешь, какую, Курсант? Возвращаться. А тот, кто возвращается, всегда застает тебя врасплох. Потому что его уже не ждешь. Я не дам ему ни первой возможности, ни второй. — Радовский посмотрел на часы. — Контрольное время — семнадцать ноль-ноль завтрашнего дня. Если я не появлюсь в назначенное время, возвращайтесь в Прудки.

— Что передать Анне Витальевне?

— Передайте Аннушке, что я вернусь. — Радовский закинул за спину МР-40. — И еще... Передайте, что я ее очень люблю и чтобы она берегла сына. А моя просьба к тебе, Курсант, остается прежней. Ты не забыл?

— Не забыл, Георгий Алексеевич.

Радовский обнял за плечи Иванка, подал руку Воронцову.

— Значит, все же уходите, господин майор? — не удержался Воронцов.

Но тот ничего не ответил. Огляделся, понюхал, как зверь, воздух и толкнул Воронцова в плечо:

— Пора. Я провожу вас немного.

Иванок шел впереди. Через полкилометра Радовский остановился и сказал:

— С Иванком я уже попрощался. А тебе, Курсант, скажу вот что: кем я здесь могу остаться? — Он посмотрел Воронцову в глаза. Взгляд был пристальным. Остатки лихорадочного блеска уже заволакивало легким туманцем тоски. Сложные чувства он переживал сейчас. — Вот поэтому и уйду. Мне теперь одна дорога — туда. Но Анне Витальевне этого не говори.

Пуля металась над Днепром, с легкостью находя цели то в одном стане, то в другом. Оба берега были запружены войсками. Во многих местах уже началась переправа. Возводились понтонные мосты, по ним шли грузовики и танки. Иногда на эти переправы налетали стаи маневренных Ю-87. Они отвесно падали на веренищу понтонов, с легкостью

рвали их на части точными бомбовыми атаками, а потом расстреливали из пушек и пулеметов. Никогда еще пуля не видела такой битвы. Вся река, от истоков до устьев, кипела от взрывов. «Восточный вал» не мог удержать наступающие дивизии Красной Армии. Он рвался, как понтоны под бомбами. На левый берег уже переправились не только пехотные батальоны, но и артиллерия, танковые части, кавалерия. Следом за первым эшелоном подтягивались тылы, налаживался подвоз и обеспечение.

Глава восемнадцатая

Нелюбин вошел в просторную землянку, обшитую тесом, и в свете карбидки, висевшей под низким потолком, увидел молодого майора лет двадцати пяти и капитана в стеганой безрукавке. Капитан был значительно старше майора. Офицеры рассматривали трофейную марлевую карту. Вскинул ладонь к обреза каски:

— Командир Седьмой стрелковой роты Третьего батальона...

— Вольно, старший лейтенант. — И майор подал ему руку. — Ну что, сосед? Рассказывайте, с чем пожаловали к нам?

— С тремя тяжелыми. И шестью способными штыками. Вынесли один ручной пулемет, три автомата, в том числе два трофейных и семь винтовок. На один хороший бой имеем боекомплект, в том числе и ручные гранаты.

Майор посмотрел на Нелюбина с любопытством. Видать, доклад ротного ему понравился. Хотя им необходима была другая информация.

— Раненых надобно бы срочно на тот берег переправить, — старался управиться со своими делами Нелюбин, понимая, что сейчас начнется разговор другой, и через минуту-другую о раненых забудут.

— А откуда знаете, что у нас переправа есть?

— Знаю. Разведку посылал. С нами капитан, артиллерист из штаба дивизии. Огонь по радио корректировал.

— Корректировщик, говоришь?

— Точно так, товарищ майор. Огонь поправлял хорошо. Гаубицы в самую точку «чемоданы» клали. Они нам и выйти помогли.

— А может, ваша артиллерия и нам поможет? А, старший лейтенант?

— Я думаю, должна помочь. Дело общее.

— Вот и я так думаю. Только тут дело такое... особенное.

Нелюбин насторожился.

— Мы — не простой батальон, — продолжил майор, — а ударный. Может, ваша разведка и об этом доложила?

— Доложила. Как же не доложить. Для того я ее и посылал сюда, к вам, чтобы все выяснили.

— И что они вам доложили, ваши разведчики?

— То и доложили, что рядом плацдарм занимает отдельный офицерский штрафной батальон.

— Видал?! — усмехнулся майор и кивнул капитану. Тот все это время молчаливо и внимательно слушал их разговор, но не проронил ни слова. — Хорошая разведка, ничего не скажешь. Узнали, что и перевоз у нас действует. Что ж, зовите своего капитана. А раненых ваших мы, конечно же, отправим первыми же рейсами. Сами будете их сопровождать? Или как?

— Мне на тот берег возвращаться не с руки. Нет у меня такого приказа. Свой плацдарм я не удержал. Готов драться на ваших позициях. Шестеро нас, да при пулемете. Полнокровное отделение.

— Отделенных-то я найду. А вот хорошего командира на третью роту мне не хватает.

— Так говорят же, товарищ майор, что батальон ваш — офицерский. Неужто среди

стольких-то старших лейтенантов не нашлось?

Майор и капитан переглянулись.

— Старших лейтенантов много. Даже подполковники есть. Но народ все тыловой. И профессии не совсем военной, интенданты да финансисты. Ну так что, товарищ старший лейтенант?

— С первого разу однозначно не ответишь. С одной стороны, товарищ майор, у меня свой комбат есть, капитан Лавренов. Может, слышали про такого. А с другой, так мое дело солдатское: где покос отвели, там и коси!

Сидевший в углу связист позвал комбата к телефонному аппарату. Майор взял трубку, и вскоре Нелюбин понял, что комбат разговаривает о нем, и не с кем-нибудь, а с командиром дивизии, с генералом. Ему сразу стало страшно, а когда майор вдруг взглянул на него и сказал, мол, передаю ему, то есть Нелюбину, трубку, у него сразу пересохло в горле и слегка зарябило в глазах. Такое с ним случалось, когда рядом ложились снаряды или пикировщики заходили в очередную атаку на окопы его роты.

— Ну что, старший лейтенант Нелюбин, не удержал ты наш плацдарм? — послышался в трубке усталый голос комдива.

— Выходит, сплоховал я, товарищ генерал-майор: Готов искупить. — А что ему было еще сказать своему генералу?

— Скольких вывел?

— Шестеро активных штыков и капитан Симонюк из штаба дивизии. Вынесли троих раненых. Никого не бросили, товарищ генерал.

— Симонюк жив? С тобой вышел? — сразу оживился голос командира дивизии.

— Живой и невредимый. С положительной стороны показал себя во время прорыва, участвовал в рукопашной. — И вдруг Кондратия Герасимовича осенило: — Разрешите остаться на правом берегу, товарищ генерал?

— Разрешаю. Там майор Дыбин тебе вакансию подыскал. Я уже поставлен в известность. Вот и принимай роту. После боя разберемся. А Симонюк далеко?

— Да спят они все без памяти. Консервов штрафных поели и завалились прямо в траншею. Приказать поднять?

— Не надо. Пусть отдыхает. У него на плацдарме работы будет много.

А утром, когда старший лейтенант Нелюбин вместе с начальником штаба батальона капитаном Феоктистовым обходил траншею Третьей штрафной роты, в одной из отводных ячеек увидел знакомую личность.

— Семен Моисеич! — радостно окликнул он бывшего младшего политрука.

Тот торопливо одернул гимнастерку, поправил ремень и, приняв «смирно», отчеканил:

— Рядовой первого взвода Третьей роты отдельного штурмового батальона Кац!

Некоторое время они молча смотрели друг другу в глаза. Но никто из них больше не проронил ни слова. Так и разошлись молча. Каждый в свою сторону: рядовой ОШБ — в свою ячейку, а старший лейтенант Нелюбин дальше по траншею.

Старший лейтенант не чаял здесь, на плацдарме, с винтовкой, на позиции простого рядового бойца встретить младшего политрука, который гнушался окопов, даже когда в них не пахло порохом. И покачал головой: что ж, Семен Моисеич, сам на себя узлов навязал...

— Что, знакомого встретили? — поинтересовался начштаба.

— Политруком раньше в нашей роте был, — признался Нелюбин.

— И что, хороший был политработник?

— Ни плохого, ни хорошего о нем сказать не могу, товарищ капитан, потому как в бою его ни разу не видел.

Начштаба засмеялся:

— А вы, Кондратий Герасимович, человек непростой. Кстати, бывший младший политрук Кац осужден именно за уклонение от боя, а проще говоря, за трусость.

Рота занимала около полутора километров траншеи, открытой, как видно, наспех, кое-где мелкогато, так что по таким участкам пробираться пришлось на четвереньках. После осмотра линии обороны капитан Феоктистов собрал на НП роты взводных и их заместителей и представил нового ротного.

Нелюбин выслушал доклады командиров взводов и поставил первую задачу: углубить ходы сообщения и усилить наблюдение и прослушивание линии обороны противника. Когда командиры взводов ушли, капитан Феоктистов спросил, кивнув на его саперную лопату:

— Кондратий Герасимович, давно хотел спросить: зачем вам саперная лопата?

Нелюбин, заметив в уголках рта усмешку, тем же кружевом и отмерил:

— А, эта-то? Старая привычка, товарищ капитан. Солдатская. Я ведь с сорок первого воюю. С самого начала. Привык.

— Вам в бой в цепи не ходить. У нас в батальоне не принято, чтобы ротные командиры носили шанцевый инструмент подобного рода.

— Ничего-ничего, товарищ капитан, солдатская лопатка офицерский ремень не шибко оттягивает. Своя ноша, как говорят...

— Ну зачем она вам?

— В офицерском штурмовом батальоне, говорят, пайки большие, так я ею буду кашу есть. — И Нелюбин похлопал ладонью по брезентовому чехлу.

— О, и не просты ж вы, товарищ старший лейтенант!

Они рассмеялись.

Когда начштаба ушел, Нелюбин в сопровождении связных, назначенных ему от каждого взвода, снова пошел по траншее. На этот раз решил навестить пулеметные расчеты и бронебойщиков.

Она-то знала, что судьбы всех солдат, находящихся в окопах по ту и другую сторону, совершенно одинаковы. Потому что ей, пуле калибра 7,92, ничего не стоило снизиться и шлепнуть в теменную часть каски любого зазевавшегося стрелка или пулеметчика. Она здесь, на передовой, была главным судьей. Она приговаривала к смерти или пожизненному увечью и тут же исполняла жестокий приговор. Зачастую между первым и вторым не проходило и доли секунды. Потому что здесь некогда было думать. Пусть думают те, кто копошится внизу, кто для нее всего лишь очередная цель. Для них, слабых и беззащитных, их размышления — своего рода защита. Сойти с ума — ничуть не лучше, чем быть убитым или остаться до конца жизни инвалидом. На войне выбор невелик. А точнее говоря, его и вовсе нет. Для тех, кто смотрит на ее одиночный полет хладнокровно.

Когда же появляется выбор... Нет, упаси боже. Это сильно расшатывает психику.

Глава девятнадцатая

Две недели отпуска по ранению пролетели как один миг. Медицинская комиссия признала Балька фронтопригодным. В назначенный день он, одевшись по полной форме, прибыл на сборный пункт. Отпускниками и выписанными из госпиталей заселили казарму близ железнодорожной станции. Но долго прожить здесь им не пришлось. Хотя многие уже передали родным и знакомым весточки о том, где они находятся. Ночью Бальк уже сидел в вагоне среди таких же отпускников, которые следовали в свои подразделения. Многие из них были с оружием.

С тех пор, как в тылах действующих армий Восточного фронта стало беспокойно из-за активизации партизанских бандитских формирований, фюрер издал приказ, в соответствии с которым военнослужащим, получившим отпуск на родину, предписывалось следовать домой с личным оружием. Но Бальк отправился на родину прямо из госпиталя, и поэтому ничего, кроме армейского ранца, набитого продуктами домашнего приготовления, которые он вез в качестве угощения для товарищей, у него не было.

До Минска они ехали спокойно. После Белостока пересели в другой состав. Вагонь были не такими комфортабельными. Зато более просторными. По радио, с армейской радиостанции под Белградом, без конца передавали песню «Лили Марлен». Бальку давно нравилась эта песня, и простенькие, но сердечные слова, и милый голос певицы. Все вокруг буквально преображались, когда из шороха и треска эфира вырывался желанный голос, до боли знакомые и ставшие родными интонации. Казалось, в певицу был влюблен весь вермахт, от солдата до генерала. Если русские в эту ночь не атакуют, подумал Бальк, то, возможно, и его взвод сейчас слушает в блиндаже «Лили Марлен». Странно, голос Лейл Андерсен заставлял думать не о доме, а о передовой, об окопах, где обитали товарищи и куда теперь поезд вез его.

И все же хорошо, что паровоз не спешил. После Минска состав двигался со скоростью двадцать километров в час. Впереди шли две платформы. Одна, нагруженная камнями, штабелями мешков, заполненных песком, а на второй были сложены запасные рельсы, и возвышалось, как диковинное орудие, приспособление для их укладки. Что-то вроде подъемного крана и лебедки одновременно. Именно по поводу рельсоукладчика кто-то из ветеранов с нашивкой за тяжелое ранение пошутил:

— Так это и есть наше секретное оружие, с которым мы начнем новое успешное контрнаступление на иванов!

Никто шутника открыто не поддержал, хотя в душе его иронию разделяли многие.

Возле Борисова в лесу поезд обстреляли из пулемета. Несмотря на то что соблюдалась светомаскировка, пулеметчик отстрелялся очень точно. Должно быть, пулемет был заранее пристрелян «на колышек». Очередь прошла точно по верхней части окон трех вагонов. Особенно досталось тем, кто лежал на верхних полках.

На ближайшей станции на перрон сложили в ряд, как делали это всегда после боя на передовой, тела троих убитых. Раненым сделали противостолбнячные уколы, впрыснули морфий. Перевязывал их опытный врач, ехавший в офицерском вагоне. Раненых решили везти до Орши. Там находился ближайший армейский госпиталь, куда и следовал доктор, увешанный фронтовыми наградами.

А Лейл Андерсен все пела и пела простую песенку, очень созвучную душе солдата

Восточного фронта. Она пела даже тогда, когда слева по движению поезда в их вагоне зазвенели стекла и пули защелкали по обивке, по висевшему на крючках оружие и каскам. Лежавшие на полках, как птицы, перепуганные хищником, сыпанули вниз, на пол. Те, кому суждено было лечь в ряд на холодном перроне ближайшей станции, так и остались на своих удобных полках. Разве думали они, закаленные солдаты Восточного фронта, что смерть за фюрера и Великую Германию застанет их не в окопах, среди верных товарищей, а здесь, в русском вагоне, во сне.

Когда рассвело и с окон сдернули светомаскировку и слегка приоткрыли солдатские одеяла, которыми наспех заделали зиявшие пустотой и продувавшие холодным русским ветром проемы, сосед Балька, двадцатипятилетний силезец по имени Франц, обнаружил в спинке сиденья одну из пуль, прилетевших к ним ночью. Он вытащил из ножен кинжальный штык, который всегда висел на ремне, и принялся выковыривать из расщепленной деревянной рейки глубоко засевшую пулю.

— Зачем она тебе, парень? — глядя на его упорство, говорили ему те, кто постарше.

Но другие, кто помоложе и на фронт возвращались после первого ранения или первого отпуска, кинулись помогать Францу. Кончиком второго штыка они разжали треснувшую пополам дубовую рейку, и пуля упала на пол. Сразу несколько рук кинулись ее ловить, как загнанного мышонка.

— Ну и дела! — первым преодолел изумление все тот же Франц. — Родной калибр! Семь девяносто два!

— А ну-ка, дай посмотреть, — отозвался пожилой унтер-офицер с нашивкой «Вестфальский гренадер»^[13] на рукаве и «мороженым мясом»^[14] на груди рядом с Железным крестом второго класса.

Ветеран подбросил на ладони пулю, внимательно осмотрел рубчатый поясок и слегка деформированное рыльце и тоном эксперта произнес:

— Да, француз, ты прав, это наше дерьмо. Вот оно и вернулось к нам. — Последнюю фразу ветеран произнес уже другим тоном, так что в вагоне некоторое время стояла тишина. Только колеса постукивали на стыках рельсов.

Обстрелом их состава в лесу под Борисовом дорожные неприятности на пути к фронту не закончились. Недалеко от Орши вагоны вдруг встряхнуло с такой силой, что на этот раз попадали на пол даже сидевшие внизу.

— Что за черт! Все живы?

— Раненых нет?

— Нет!

— Иваны совсем обнаглели!

— Они теперь не дадут нам покоя, пока мы не уберемся с их полей!

— Кто это сказал? Повторите!

— Какая разница, кто сказал. Количество русских танков от этого не уменьшится. — Это сказал ветеран с нашивкой «Вестфальский гренадер». — А ну-ка, живо поднимайте свои откормленные задницы, взять винтовки и марш из вагона!

Вестфалец посмотрел на Балька, нюхавшего затоптанный пол рядом с его ботинками и подал ему винтовку, оставшуюся после того, как под Борисовом с верхней полки сняли коренастого крепыша баварца с пробитым затылком.

— За мной, парень! И совету тебе там, в лесу, держать ухо востро!

— Вот мы и в России.

— Будь она трижды проклята!

— У иванов так думать о нас причин еще больше.

— Да, это так.

— И какого черта мы сюда сунулись? У нас с иванами был договор о ненападении!

— Приятель! Ты как с луны свалился! Освободительный поход! Против большевиков!

— Так они тут все большевики. Большевики и «гориллы».

— А заодно мы освобождаем их и от всего остального. От жилья, от имущества, от урожая. Иногда — от жизни.

— Прекратить треп!

Вестфалец как в воду глядел. Гауптман, командовавший составом, размахивал протезом левой руки и отбирал группу для прочесывания леса на участке до ближайшего перегона.

— Давайте ваших людей! — скомандовал гауптман унтер-офицеру. — Стройте их вон там. Я сейчас отдал распоряжение ремонтникам и займусь вами. Действуйте, унтер-офицер! Разрешаю брать с собой всех, у кого есть оружие, кроме находящихся в оцеплении.

— Как нам действовать, герр гауптман? — поднял руку вестфалец, который с этой минуты становился полномочным командиром их группы. — Прошу поставить нам задачу.

— Задача очень простая. Двигаться цепью параллельно железнодорожному пути. Прочесывать лес на глубину ста метров. Действовать по обстоятельствам. Помните, мы уже на фронте.

— Разве фронт уже отступил сюда? — спросил кто-то из шеренги. Ему никто не ответил. Даже гауптман сделал вид, что не слышал возгласа солдата.

Через несколько минут они развернулись в цепь и двинулись по обеим сторонам железнодорожного пути в сторону Орши.

— Мы куда двигаемся? На восток?

— Да, на восток.

— О, мы снова наступаем! Завтра об этом сообщат по радио в «Час нации».

— Заткнись!

В голосе говорившего чувствовалась ирония. Кажется, это был тот же самый, который в Минске рассуждал по поводу секретного оружия Гитлера.

Бальк шел рядом с вестфальцем. По другую сторону, соблюдая дистанцию десять шагов, осторожно крался среди деревьев силезец Франц. Карабин системы Маузера K98k был значительно легче МГ-42. Но, будь у него сейчас в руках его надежный Schradeur, он чувствовал бы себя куда увереннее. «Гориллы»^[15] очень коварны, могут выстрелить из-за любого дерева, из любого оврага, и исчезнут, как будто их здесь и не было. Вот такое «наступление».

Их отправили на прочесывание леса. Собачья работа. Лучше услышать команду взводного фельдфебеля: «На выход!», а потом бежать вперед под русскими пулями, чем выполнять здесь, в тылу, роль ищейки в операции с неясными целями.

Бальк вдруг вспомнил Анну, ее нежные руки. Нет, она уступила ему не потому, что он солдат армии, оккупировавшей ее родину. В глазах девушки Бальк видел то, что всегда мечтал увидеть — любовь большую, чем материнская. Пока идет война, он вряд ли снова попадет в тот город. Надо ждать конца. В том, что победит Германия, что фюрер приведет немецкий народ к победе, Бальк не сомневался. Хотя настроение матери, некоторые реплики старика Гальса и откровения хозяина соседней фермы Келлера, больше года воевавшего в 17-й армии на юге, в Крыму и в предгорьях Кавказа, его настораживали. Келлер

едва не потерял под Севастополем ногу. Теперь сильно хромал. Ругал генералов и «коричневых» за то, что они втянули Гитлера в войну с русскими. «Иваны нам не по зубам! А все наши союзники — дерьмо! Итальяшки, румыны. Одни разве что венгры будут верны до конца. Остальные разбегутся, как только запахнет жареным. Чтобы воевать с англичанами и американцами, в союзники надо было брать русских! Только они могли стать настоящими союзниками! Вот тогда бы мы задали трепку и англичанам, и америкашкам! Но после того, что мы там натворили...» Келлер воевал вместе с Норбертом Тепельманом. Норберт был в отпуске полгода назад. Заезжал на денек и в Баденвейлер. Теперь о нем ничего не слышать. Писем давно не присылал. В Крыму, по слухам, тоже русские перешли в наступление и давили по всем направлениям.

Гальс, старина Гальс, побывавший в русском плену во время Первой мировой, говорил не так резко и категорично, но все же примерно то же самое. Фермой он управлял превосходно. Конечно, не без помощи русских. Девушки успевали делать все: кормили коров и свиней, чистили скотные помещения и загоны, убирались по дому. Мать привязалась к одной из них, которую Бальк увидел в первый же день. Русскую звали Александрой. Девушка неплохо говорила по-немецки. Когда в ее руки попадались газеты, она старалась прочитать их, прежде чем сунуть в печь. Однажды он дал ей почитать книгу — Гете, берлинское издание начала века. Через несколько дней она вернула ее. И между ними состоялся разговор, из которого Бальк вынес, что Александра не просто осилила смысл прочитанного. Некоторые строки она запомнила наизусть. И сравнила Гете со своим соотечественником, с Пушкиным. Прочитала по памяти одно из стихотворений Пушкина. По-русски оно звучало прекрасно. Кое-какие фразы и слова она ему растолковала. Смысл их восхитил Балька. Ничего подобного в германской поэзии он никогда не встречал. Он и раньше знал, что у русских величайшая в мире культура. Музыка, литература. Чайковский, Рахманинов, Лев Толстой, Достоевский... И об этой культуре напомнила ему тихая девочка-подросток из России.

Солдаты вышли к просеке, по которой тянулась хорошо наезженная проселочная дорога. По всей вероятности, где-то неподалеку находилась деревня. Пошли вдоль дороги и вскоре догнали повозку. В телеге с разболтанными колесами, которые выписывали по сырому песку замысловатые вензеля, сидели двое: старик лет семидесяти и мужчина лет двадцати пяти. Увидев солдат, они испугались. Мужчина бросился в лес, но вскоре был остановлен несколькими выстрелами поверх головы. Когда его привели, Бальк заметил, что он был не в себе. Но не потому, что напуган встречей с германскими солдатами и стрельбой. В лице его, в осанке и выражении глаз было нечто, что свидетельствовало о том, что им давно владело глубокое душевное расстройство. Старик тоже пытался объяснить унтер-офицеру, сразу сообразив, что командует цепью именно он, что его спутник побежал в лес не потому, что он боится солдат, а потому что он болен.

— Кранк! Ер ист зер кранк, пан офицер! — твердил старик и пытался ухватить односельчанина за руку. Возможно, тот доводился ему родственником, может, даже сыном. Но вестфалец был непреклонен. Он приказал обыскать задержанных и повозку. Повозку пришлось осматривать Бальку. В ней ничего, кроме топора и пилы, не было. Правда, под подстилкой из слежавшейся соломы Бальк обнаружил немецкую фляжку. Вначале он хотел сделать вид, что не заметил ее, но потом все же вытащил и протянул унтеру. Тот вскинул брови и толкнул фляжкой в грудь старика:

— Откуда это у тебя, старик? — спросил он по-немецки. — Ты партизан? Ты убил

германского солдата и теперь носишь его фляжку? Это твой трофей?

— Они «гориллы»! Посмотрите на их лица! — заговорили обступившие повозку солдаты.

— Это они взорвали состав!

— Они убили наших товарищей!

Бальк вдруг почувствовал, что сейчас произойдет то, чего он всегда боялся больше всего, находясь здесь, в России. Он еще ни разу не участвовал в расправах над жителями деревень оккупированных территорий, над людьми, которых подозревали или обвиняли в связи с партизанами, в бандитских налетах. Он слышал рассказы об этих расправах и надеялся, что ему хватит дел и в окопах. А этим пусть занимаются «цепные псы» или айнзацкоманды. Пусть расстреливают СС.

— Их нельзя отпускать! — продолжали твердить солдаты.

Бальк это давно заметил: дружелюбные парни, отцы семейств, бывшие булочники и музыканты, крестьяне и учителя, попадая в подобные ситуации, очень быстро становятся просто солдатами, одетыми в одинаковую форму и объединенными примитивными правилами действий на войне. Солдат должен стрелять в противника. Как можно больше и точнее. Чтобы скорее и надежнее поразить его. Иначе в затаптанной грязи будешь лежать с разбитым черепом ты.

— Они не «гориллы», — попытался вставить слово Бальк. В конце концов, он тоже имеет право выразить мнение.

— Ты уверен? — тут же отреагировал вестфалец и посмотрел на него так, как взводный, если бы он допустил оплошность во время боя. — Тогда поручишься за них перед герром гауптманом. Интересно, как ты будешь мотивировать...

Бальк опустил голову. Как он мог поручиться? Любой русский на оккупированной территории мог быть партизаном, помогать им либо просто сочувствовать. Все это, согласно приказам командования, должно караться с особой жестокостью. Бальк знал, что любой солдат мог поступить как угодно с любым русским. Просто потом нужно было убедительно объяснить свой поступок офицеру. Обычно все сходило с рук. Поэтому многие старались просто не общаться с русскими, не иметь с ними никаких дел. Чтобы потом не чувствовать себя последней скотиной, способной на все.

Но фляжку из-под соломы вытащил и передал унтер-офицеру он, Бальк.

На лице вестфальца мерцала тень сомнения. Но в это время с другой стороны железной дороги послышалась стрельба. Вначале редкие выстрелы винтовок, а потом длинные очереди ППШ. Сомнений быть не могло, вторая группа, двигавшаяся цепью по левой стороне железной дороги, наткнулась на «горилл». К торопливым очередям русского автомата подключился еще один. И тут же рельсы на просеке взлетели в воздух вместе с огромным снопом огня.

— Они снова взорвали пути!

— К березам! — приказал вестфалец и указал винтовкой на русских. — Ты, ты, ты и ты — приготовить оружие!

Унтер указал и на Балька. Значит, ему придется расстреливать. Значит, и он, фузилер Арним Бальк, с этой минуты станет здесь, на Восточном фронте, не просто солдатом вермахта.

Он стал напротив русских. Для твердости расставил ноги. Вскинул винтовку, прижал к плечу холодный, мокрый от росы приклад. Бальку предстояло стрелять в старика. Он стоял

на правом фланге отделения, приготовившегося выполнить приказ вестфальца. Старик сразу побледнел. Голова его подрагивала. Он что-то шептал и судорожно ловил трясущейся рукой с узловатыми пальцами крестьянина руку душевнобольного. Да, сомнений быть не могло, это его сын. Они похожи. Молодой вначале с любопытством смотрел по сторонам, потом тоже все понял, и из глаз его, как у ребенка, брызнули слезы.

— Пли! — скомандовал унтер.

Залп оказался громким, как будто выстрелило не отделение, а вся рота фузилеров, и мир, вся жизнь Арнима Балька, убеждения и даже мечты в одно мгновение переместились в другое измерение.

Иногда она засыпала, отключалась на несколько мгновений, и тогда ее полет становился слепым, невесомым, как случайный сон солдата, и не столь стремительным. Но это не меняло ее сути.

Глава двадцатая

На хутор Радовский не вернулся. Воронцов и Иванок прождали его дотемна. Оседлали коней. Попрощались с хуторянами.

Воронцов обнял старика Сидоришина и сказал:

— Держись, Иван Степаныч.

— Держусь, держусь, Сашок. Мне бы Стеню дождать. Тем и держусь. А там... — И старик махнул рукой.

Уже когда сели на коней, Иван Степанович взял за уздечку Гнедого и пошел проводить их до протоки.

— Передавайте поклон всем прудковским. Ты, Иванок, матери, Степаниде Михайловне кланяйся. А ты, Сашок, своим. И береги себя на войне. Теперь за тобой вон какая ватага. Зина за всеми не управится. Ты — командир. Военное училище заканчивал. Повоевал уже порядочно. И должен понимать, что войско сильно не только храбростью, а умом и хитростью воеводы.

Когда выбрались из поймы в лес и пустили коней по краю просеки, увидели впереди Нила.

— Смотри-ка, Сань, — указал винтовкой в дальний конец просеки Иванок.

— Ты давай — вперед. А я задержусь немного.

— Что, поговорить хочешь с божьим человеком?

— Хочу.

Иванок хлестнул прутом коня, погнал по краю просеки. Поравнявшись с неподвижной фигурой монаха, сдернул с головы кепку и сказал негромко:

— Здравия желаю, отец Нил!

— Здравствуй, братец. Храни тебя Господи!

Нил поднял руку, и конь остановился. Иванок дернул повод и хотел было объехать монаха, но конь стоял как вкопанный.

— Не ожесточайся. Не превращай сердце в камень. — И перекрестил Иванка.

Воронцов спешил, поздоровался. Нил протянул свою тяжелую мужицкую ладонь, неожиданно крепко пожал руку Воронцова.

— Садись, солдат, садись на коня и поезжай со спокойной душой. Ничего и никого не бойся. Так все и перетерпишь с Божией помощью. Евсеюшке поклон. Ежели силы Бог даст навещу его. А когда, не знаю. Поезжай. Тебя уже там ждут. И дома, и в окопах. А усталость надо перешагнуть. Перешагнешь. Поезжай со спокойной душой. Судьбы не объедешь. И за ним... — Нил указал в глубину просеки, где покачивалась спина Иванка. — За ним присматривай. Головушка неразумная.

Воронцов вскочил в седло и, не оглядываясь, поскакал догонять Иванка. Хотел спросить Нила, и уже в уме приготовил вопросы, а монах сам все сказал. Будто заглянул в душу, замутненную сомнениями.

Ехал и думал о том, что услышал. Перебирал в памяти слова Нила. И вроде легче стало на душе. И усталость, как дождь, который уже прошел и не повторится, высохла на плечах и уже не давила подспудной тяжестью. О детях не спросил, спохватился он и оглянулся. Но никого уже не было в дальнем конце просеки, где минуту назад расстался с отшельником.

В полночь они подъехали к Прудкам.

Зинаида засветила керосиновую лампу. Быстро накрыла на стол. Над печным плечом колыхнулась шторка. Послышался голос Петра Федоровича:

— Слава тебе господи, вернулся. — И минуточку спустя: — Коней-то пригнали?

— Целы кони, Петр Федорович. Иван Степаныч и хуторские велели кланяться.

— Все живы-здоровы?

— Все.

— Зина, — позвал Петр Федорович дочь, — накорми жениха. Я уже вставать не буду.

Спина моя что-то залиховала. А ваше дело молодое...

Зинаида подливала Воронцову молока. Стоило ему отпить несколько глотков и поставить на стол кружку, она тут же со смехом подливала в нее из глиняного горлача. Глаза лучились, щеки румянились, и вся она, казалось, была окутана тем трепетным нежным сиянием, которому причина может быть только одна. Воронцов следил за ее взглядом, за движением рук, он через стол чувствовал тепло, исходящее от плеч и шеи, от румянца, который играл на коже.

Не спалось за шторкой и Петру Федоровичу. И погода, через вздох, тот подал голос:

— А хорош пол у нас вышел, Ляксан Григорич! А?

Зинаида не выдержала, прыснула. Залилась румянцем еще гуще. Засмеялся и Воронцов. Радостно вздохнул за шторкой и Петр Федорович.

— А Степаненковы как рады! — всплеснула руками Зинаида, стараясь увести глаза и мысли Воронцова на какую-нибудь другую тему. — Тятя, слышишь? Дядя Митя приказал соломы наносить. Застелили холщовым полотном и спят теперь вповалку. Вокруг печи!

— Ну так разве ж не радость?! После землянки! Скоро всем хаты отстроим.

— Как тут Анна Витальевна? — тихо спросил Воронцов Зинаиду.

— Обживается. Ничего, привыкнет. Алеша вначале спал с нею. А потом попросился туда, к ребятам. Они там, на печи, тоже теперь, как на соломе у Степаненковых. Колхоз!

Воронцов, когда зашел в дом, первым делом взглянул на спящих детей. Улита лежала с краю, разметав во сне голые ножонки. Рядом, уткнувшись в подушку, посапывал Алеша. А дальше по ранжиру лежали Колюшка, Федя и старший Прокопий. Воронцов поправил одеяло, укрыл дочь, потрогал льняные волосы. Сказал Зинаиде шепотом:

— Как воробьята.

— Точно-точно, — засмеялась она.

О том, что произошло в овраге в лесу между хутором и аэродромом, он не рассказал ни ночью, ни на следующий день. Только Анне Витальевне, которая за завтраком несколько раз вопросительно взглянула на него, он сказал:

— Георгий Алексеевич просил передать, что...

Она вся вытянулась навстречу.

— ...что он любит вас и что он обязательно разыщет при первой же возможности. И еще: чтобы вы берегли сына.

Она молча кивнула и улыбнулась. Как будто большего и не ждала.

В полдень к дому подъехала повозка. Иванок привязал вожжи к скобе, вбитой в воротину, и постучал кнутовищем в окно:

— Сань! Ты собрался? А то уже пора!

На его нетерпеливый стук вышла Зинаида. Не затворяя за собой двери, позвала с крыльца:

— Зайди, Иванок! Молочка попей. В дорогу.

— Молочка-то в дорогу можно, — согласился он и внимательно посмотрел на Зинаиду, словно пытаясь увидеть в ней какую-то важную перемену, которая непременно должна была произойти. Но сколько он ни приглядывался, ничего такого не заметил.

Ее пьянил не только свободный полет. Нет, не только это. Запах сгоревшего пороха — вот что давало новые силы для полета и укрепляло уверенность в том, что ему не будет конца. Река, казалось, пахла не водорослями, не илом. Нет, она пахла порохом. И с каждым часом запах, исходивший от воды, становился все сильнее. Река, где сошлись в смертельной схватке лучшие солдаты противостоящих армий. Река не разделяла их, нет. Она соединяла неприятелей узами, о которых выжившие будут вспоминать до конца своих дней.

Глава двадцать первая

Новая рота, которой выпало командовать старшему лейтенанту Нелюбину, ничем особенным от предыдущих не отличалась. То, что во взводах простыми солдатами воевали капитаны и майоры, лишенные званий и наград за различные воинские преступления, его не смущало. О прошлом бойцов думать было некогда. Форма на всех точно такая же, какую носила его Седьмая стрелковая. Все приказания и распоряжения старших по званию и должности исполнялись тут же, и без заминок и пререканий. А это главное.

Несколько раз Нелюбину попадался на глаза Кац. Но это был уже другой человек. Казалось, солдатская шинель бывшему младшему политруку пришлась вполне, и он, стоя в ячейке, так же, как и остальные бойцы взвода, вел огонь из винтовки по мелькавшим впереди фигуркам немецких пехотинцев, когда те поднялись в очередную атаку прямо по фронту Третьей роты.

В первый день немцы контратаковали дважды. Первую отбили сами. А вторую совместно с артиллеристами. Как только цепи, сопровождаемые полугусеничными бронетранспортерами с крупнокалиберными пулеметными установками, вышли из оврагов и из-за лесополосы, капитан Симонюк быстро передал за Днепр координаты. Через минуту, вот она, прилетела первая стая тяжелых снарядов и легла вразброс по всему фронту атакующих. Капитан тут же передал поправку. И гаубицы за десять минут раскромсали густую цепь наступающих. Вначале немцы попытались форсированным броском вперед миновать полосу огня, но Симонюк внимательно следил за их продвижением. Под таким обстрелом не в атаку ходить, а только спасаться, пересидеть, согнувшись в три погибели в окопе и молиться, чтобы он выдержал и не обвалился тебе на плечи и голову.

Нелюбин в бинокль наблюдал за действиями противника. И отметил про себя, что и в неудачной атаке они действуют собранно. Раненых не бросают. Отходят грамотно. В предполье осталось два горящих «гроба». Третий немцы утащили. Подошел тягач, подцепил подбитый бронетранспортер и уволок его за лесополосу. Бережливый народ, ничего не скажешь. Гожего винта на нейтралке не бросит.

Так прошел первый день на новом плацдарме.

Вечером, после раздачи горячей каши, он отдал распоряжения взводным и наблюдателям и улегся вздремнуть прямо в траншее, на разостланной шинели, прикрывшись сверху двумя шерстяными трофейными одеялами. И, засыпая, услышал такой разговор в соседней ячейке, где дежурили пулеметчики.

— Когда таким, как мы, дают в руки винтовку с тремя обоймами патронов, и жестокие командиры гонят нас вперед, они действительно дарят нам возможность преодолеть себя. А рубеж, который занимает противник, это уже вторично. Это — механика войны. Всего лишь следствие. — Говорил все время один. Двое других лишь иногда вставляли слово-другое, в основном соглашаясь.

И Нелюбин, уже сквозь пелену сна, подумал: «Всякий народ сюда попадает, это да... Вон как мудро рассуждает. Видать, образованный, из штабных. А может, профессор какой тыловой. Война-то нынче многих захватила».

Его разбудил Звягин.

— Старшой, вставай.

— Что такое?

— Немцы атакуют.

Звягин потянул его за шинель буквально в следующее мгновение после того, как утих голос профессора в соседнем окопе. Так показалось Нелюбину.

Старлей вскочил, сунул руки в рукава шинели, схватил ППШ и побежал к бронбойщикам. В лугах уже светало. Позади, в пойме Днепра, густо клубился туман. И хорошенько же я, ектыть, прилег, удивился сам себе Нелюбин. А через минуту он уже лежал в ячейке командира отделения бронбойщиков Вильченко и, наблюдая в бинокль за тем, как немцы развертывают очередную атаку, говорил:

— Не спеши, Вильченко. Не обнаруживай себя до верного выстрела. Вчера во время атаки снайпер стрелял. Думаю, сегодня он тоже будет при деле. Не спеши. Вон, видишь, болотце и воронки? Он сейчас подойдет к ним и начнет обходить. Вот тут-то и бейте его. По гусеницам и в борт.

— Ну, это мы знаем, — ответил Вильченко.

Второй номер нервно протирал тряпочкой длинные патроны и аккуратно складывал их в трофейный деревянный ящичек.

Нелюбин мельком взглянул на сосредоточенное лицо бронбойщика, на всю его скорчившуюся, сгруппировавшуюся над прикладом бронбойки фигуру и подумал: уж этот точно не из интендантов.

Внезапно танки, сделав по два-три выстрела, начали пятиться и вскоре исчезли за лесополосой и в балках.

— Что-то мудрят фрицы, — послышалось в траншее.

— Может, боятся, что мы мин накидали?

— Вряд ли. Ихние саперы всю ночь по нейтралке ползали.

Ночью через Днепр на плацдарм причалило несколько плотов. На них прибыла батарея 45-мм противотанковых орудий и рота тяжелых полковых минометов калибра 120 мм, которая расположилась в одном из оврагов. А батарею «сорокапяток» пришлось размазать по всей подкове обороны батальона, по два ПТО на каждую роту.

И сейчас артиллеристы все еще копошились на своих позициях.

О прибытии артвзвода Нелюбину доложил Звягин.

— Почему сразу не разбудил? — забранился Нелюбин на связиста, который теперь исполнял обязанности и ординарца тоже.

— Не хотел тревожить.

— Не хотел он тревожить... Я пока что не на генеральской должности.

Звягин усмехнулся и ничего не ответил. Усмешка Звягина не миновала внимательных глаз Нелюбина, и тот хотел было прочитать подчиненному очередную мораль. Но тут в траншее появился лейтенант с черными кантами, и ротный сразу догадался, кто это.

— Командир огневого взвода Второй батареи лейтенант Безуглый, — представился артиллерист.

— Командир штурмовой роты старший лейтенант Нелюбин. — И подал лейтенанту руку. — Как устроились?

— Да вот, устроились. Вроде успели.

— Запасные есть?

— Есть.

За спиной лейтенанта маячил ефрейтор с катушкой телефонного провода и потертым, выдавшим виды ящиком телефонного аппарата.

— Я думаю разместить свой НП совместно с вашим, — сказал лейтенант и посмотрел в предполье. — Видимость здесь хорошая. И с вами увязывать легче будет.

Храбрый малый, мысленно похвалил Нелюбин лейтенанта.

Поговорили о маневре танков.

— Что бы это могло означать? — спросил лейтенант. — Почему они отменили атаку? Как вы думаете?

Со стороны города, с северо-запада, послышался вибрирующий гул моторов. Он нарастал с каждым мгновением. И вскоре и Нелюбин, и лейтенант-артиллерист, и штрафники, молча кутившие в ячейках неожиданные, словно богом посланные им перед боем сигарки, поняли разом, почему немцы отменили танковую атаку.

— Убрать оружие! — скомандовал Нелюбин.

Лейтенант какое-то время смотрел на горизонт расширившимися глазами. Резко обернулся к связисту и приказал:

— Карпухин, живо подключи меня к Малюгину.

Как только косяк «лаптежников» подлетел к плацдарму, из немецких окопов в небо одновременно взвились красные сигнальные ракеты. Ракет было необычно много, больше десятка, и все они полетели в сторону траншеи ОШБ, обозначая правильную «подкову» обороны плацдарма.

— Звягин! А ну давай нашу ракетницу! Пали красными! Веером, в сторону немцев. Давай, ектыть, живо!

В березняке, после рукопашной схватки с минометчиками, Звягин подобрал ракетницу и сумку с зарядами. Были там и патроны с красными метками.

Звягин побежал по траншее, через каждые десять шагов выпуская в сторону немецких окопов у лесополосы по ракете.

Пикировщики разделились на пары и, долетев до лесополосы, начали почти отвесно падать вниз. Пикировали они с включенными сиренами. Сверху немецкие пилоты, конечно же, хорошо просматривали траншею батальона. Но то ли выпущенные Звягиным красные сигнальные ракеты сбили их с толку, то ли остатки тумана и утренних сумерек мешали хорошенько прицелиться, но первый сброс они сделали, почти не причинив обороне плацдарма никакого вреда. Бомбы легли в предполье, ближе к немецким окопам. И тотчас оттуда, сквозь клубы дыма и гари, в небо взвились одна за другой еще две ракеты.

— Звягин, давай еще пару красных!

— Нет больше красных, старшой, — ответил Звягин.

— Давай зеленые! Хоть как-то собьем их с толку! Стреляй в сторону артиллеристов!

— А если их накроют? Нам, старшой, тогда прямая дорога под трибунал!

— Стреляй, говорю! Дальше фронта не пошлют!

Когда «лаптежники» сделали разворот и начали заходить в атаку, в небо взвились две зеленые ракеты. А дальше Нелюбин уже не имел возможности наблюдать за ходом событий. Земля задрожала, ноги начали разъезжаться, как на льду, и он, чтобы не искушать судьбу, уткнулся в угол окопа рядом со Звягиным. Потом был третий заход.

Еще рвались кругом бомбы и пикировщики на бреющем простреливали траншею из бортовых пушек и пулеметов, когда где-то правее, в стороне Второй роты, закричали:

— Танки!

Нелюбин поднял голову, ворохнул плечами, сбрасывая с себя куски глины, толкнул Звягина. Тот тоже резко вскинул голову, сверкнул из-под каски шальными глазами и начал

зачем-то расстегивать поясной ремень. Потом быстро снова застегнул его и пересчитал гранаты, рядом сложенные в нише окопа.

Танки шли не одни. Следом за ними из-за лесополосы и из балок выползали бронетранспортеры. Пехота пока сидела в «гробах», за надежной бронезащитой.

На Третью роту шли четыре танка и штурмовое орудие. Одна «пантера», три длинноствольных Т-IV с броневой защитой гусениц и, немного отставая от них, словно прячась за мощной броней, двигалась приземистая черепаха штурмового орудия.

— Безуглый, — крикнул Нелюбин лейтенанту. — Видишь, самоходка за «пантерой» крадется? Как только ты откроешь огонь, она сразу постарается засечь твои орудия и перебьет их по одному. Так что твоя основная цель не танки, а эта сволочь.

— Понял! — И лейтенант тут же закричал в трубку: — Малюгин! Слушай меня внимательно! Твоя основная цель — самоходное орудие. Видишь его? Хорошо. Давай первым фугасным — по гусенице! А дальше — три выстрела подкалиберными. Если не попадешь, быстро откатывай орудие в овраг и — на запасную! Ты меня понял?

Обе «сорокапятки» выстрелили почти одновременно. Две настильные трассы ушли к лесополосе и тотчас там вспухли два бурых взрыва. Один рядом с «пантерой», а другой глубже, возле приземистого штурмового орудия. Шедшая впереди «пантера» тут же, не останавливаясь, огрызнулась из своего длинноствольного орудия. Выстрел «сорокапятки» никакого вреда ей не нанес. «StuG-III» повел себя иначе. Фугас разорвался почти под ним. Самоходное орудие остановилось и сделало небольшой доворот. Шевельнулся хобот его короткого орудия. Наверняка наводчик засек вспышку одной из «сорокапяткок». Но лейтенант Безуглый быстро передал поправку и скомандовал:

— Малюгин! Подкалиберным! Огонь!

Трасса ушла к лесополосе и ударила в орудийную маску стальной черепахи. Откинулся верхний люк, но никто оттуда не вылез. Через несколько мгновений корпус штурмового орудия содрогнулся и высокий столб пламени, смешанного с черным маслянистым дымом, ударил вверх.

— Молодец, Малюгин! А теперь оба — по гусеницам «пантеры»!

Танки и бронетранспортеры быстро приближались к траншее батальона. Резко захлопали бронебойки. Нелюбин приказал бить по полугусеничным «гробам». Один из них уже стоял, осев на передний мост. Из-под радиатора его вытягивало черный дым. Пехота сразу сыпанула через наклонную броню бортов.

Правее, где оборонялась вторая рота, тоже горело несколько танков. Черный дым тащило вдоль Днепра, в лес. Там тоже шла стрельба.

— Малюгин! Дуй на запасную! Что? На запасную, я сказал!

Когда танки подошли метров на двести, перед ними поднялась гряда черных взрывов. Это снова в дело вступили гаубицы артполка. Огонь они вели из-за реки. И ударили в самый нужный момент. Что и говорить, молодец капитан Симонюк. Не заробел и во время прорыва, не сплоховал и теперь. Артналет длился минут десять, не больше. Взрывы постепенно начали смещаться в глубину, к лесополосе и балкам. Дым рассеялся, и штрафники увидели, что два танка горят, но «пантера» и Т-IV, выдерживая прежний курс, идут прямо на НП командира роты.

Вверху мелькнули черные тени. Нелюбин поднял голову и увидел косяк штурмовиков. «Илы» на низкой высоте ушли за лесополосу. Вскоре там загремело. Значит, здесь цветочки, понял он, а ягодки там. Штурмовики громили второй эшелон немцев.

Немецкая пехота уже покинула бронетранспортеры и рассыпалась в цепь.

— Звягин! Давай ракету!

Звягин вскинул ракетницу и выпустил в небо зеленую ракету. Сразу заработали оба «максима». Когда цепь приблизилась примерно на сто шагов, Нелюбин дал команду открыть огонь и трем ручным пулеметам. По всей траншее захлопали винтовки, часто затараторили ППШ.

— Ребята! Держаться! — закричал Нелюбин. — Танки пускай проходят! Отсекай пехоту!

Позади, в овраге, разом захлопало, и тяжелые мины со свистом стали перелетать через головы штрафников и падать точно в цепях атакующих. Минометчики стреляли со знанием дела. Сразу поредели цепи. Остановился еще один «гроб», будто уткнувшись в воронку. Но крупнокалиберный пулемет на нем не умолкал. Пули щелкали по брустверу, по березовым пням. То справа, то слева слышались крики раненых. Живые оттаскивали тела убитых, чтобы не мешали во время боя. Уносили раненых.

Цепь продолжала продвигаться вперед. По мере ее приближения минометчики меняли угол прицела. Мины вырывали из цепей сразу по несколько человек. Но немцы упорно шли вперед. В характере их атаки многое было необычным. Нелюбин это отметил сразу: вопреки тому, что он видел уже не раз, они не утаскивали раненых. Когда до траншеи осталось метров восемьдесят, немцы начали сбрасывать с себя шинели. Теперь, последние десятки шагов, они бежали налегке.

Минометы прекратили огонь.

Нелюбин, оценивая обстановку, успел заметить, что стреляет только одно ПТО, что артиллеристы и бронбойщики остановили Т-IV и теперь добивали его. Угловатая стальная коробка стояла метрах в тридцати от НП, немного развернувшись, и медленно разгоралась. Покинул ли машину экипаж, Нелюбин не видел. Подбитый танк со всех сторон обтекали пехотинцы, видимо опасаясь взрыва боекомплекта и горючего. Теперь железная коробка танка для них уже не служила ни защитой, ни огневым усилением.

Вырвавшаяся вперед «пантера» тем временем перевалилась через траншею метрах в пятнадцати правее. Туда Нелюбин послал Звягина с двумя противотанковыми гранатами. На линии окопов, чего больше всего боялся Нелюбин, она не задержалась. Видать, экипаж понял, что, под прицелом уцелевшего ПТО им не до «утюжки», и, ревя мотором, танк пополз прямо на выстрелы «сорокапятки». Но в это время сзади и с боков в «пантеру» полетели гранаты и бутылки с КС, и через мгновение корма ее окуталась дымом, по броне побежал огонь. Боковой башенный люк открылся, и оттуда пулей, как мышь из горящей копны, выскочил танкист. Его тут же кинулись ловить. Обступили, навалились, подмяли.

— Рот-та! Примкнуть штыки! — закричал Нелюбин. Он уже стоял на бруствере. Как вылезал из окопа и каким образом вместо ППШ в его руках оказалась винтовка с примкнутым штыком, он не помнил. Действовал машинально. — В атаку! За мной!

Он знал, что поднимутся все. Потому что все понимали: это их последний бой. Другого не будет. Наступил именно тот момент, когда надо проявить себя в деле и атаковать решительно, вкладывая в бросок все силы, всю ловкость и всю ярость.

Когда сходились, Нелюбин успел заметить, что на мундирах немцев не было погон и знаков различия. В какой-то момент его обогнали сразу несколько человек. Среди них он увидел Каца. Бывший младший политрук держал перед собой винтовку с примкнутым штыком, и в его лице было столько решительности, что Нелюбин понял: поднялись все.

Вся Третья рота по приказу старшего лейтенанта, которого только накануне назначили ротным командиром, быстро покинула траншею и ячейки и, не соблюдая никакого строя, группами по несколько человек, ринулась навстречу немецкой цепи. В рядах атакующих бежали даже легкораненые. Они знали, что их дело уже сделано, что можно переждать схватку в траншее, что после боя их в любом случае отправят в тыл, за Днепр, где произойдет для них самое главное — будет снята судимость. Но знали они и то, что, если контратакой не удастся отбросить немцев назад, они ворвутся в траншею. Судьба давала им еще один шанс выжить, но, по парадоксу войны, выжить означало для них идти на смерть.

А дальше произошло то, что всегда происходило во встречном штыковом бою. Рев сотен плотов, глухие удары, хруст, вопли умирающих, скрежет металла по металлу. Никто не думал отступить. У одних был приказ: сбросить русских в Днепр. У других: любой ценой удержать плацдарм. Никому из них судьба не оставила выбора.

Ночью на плацдарм переправился батальон капитана Лавренова, состоявший из остатков Третьего стрелкового батальона, двух маршевых рот пополнения и артдивизиона усиления. Немцев потеснили. Вперед бросили остатки штрафного батальона. А утром начала переправу дивизия.

Но основной прорыв произошел все же не здесь. И слишком поздно немецкое командование перебросило танковую дивизию и пехотные части СС на направление главного удара, поняв наконец, что плацдарм на этом участке «Восточного вала» всего лишь тактический ход русских, отвлекающий маневр.

Над бруствером качнулась и замерла едва различимая тень человека. Он стоял в ячейке, всматривался в черный расплывчатый силуэт леса. Что он там хотел увидеть, понять было трудно. Почти невозможно. Трассирующая пуля калибра 7,92 пролетела над нейтральной полосой, над порванными заграждениями и остовом сгоревшего бронетранспортера. Человек не видел, но он почувствовал, в какой-то миг ощутил в пространстве ее присутствие, стремительный и беспощадный полет. Пуля разбила комок сырой земли на бруствере, немного изменила траекторию и скользнула над плечом, только слегка задев погон с тремя звездочками. Старший лейтенант обернулся и увидел лишь фиолетовую точку в ночи. Она все выше и выше поднималась над землей. Завораживала его взгляд. И вдруг он тоже ощутил свое крошечное одиночество среди этой необъятной ночи. Среди войны. И понял, что теперь, в обозримом будущем, о котором на фронте лучше не задумываться, вряд ли кто его разрушит. Кроме пули.

— Воронцов! — послышалось из узкой щели низкого лаза в землянку. — Ты где? Давай к столу! Все уже готово!

И стоявший в ячейке вдруг вспомнил, что сегодня у него день рождения. Но сколько ему исполнилось, вспомнить так и не смог. Ему казалось, что он прожил уже тысячу лет. Да, тысячу лет, два года и полтора месяца. На этой проклятой войне. А другой жизни у него и не было. В сущности, она когда-то была. Но он не мог ее вспомнить.

Фиолетовая точка поднялась над лесом, который уже почти слился с небом, но глаз, привыкший к темноте, все же мог различить ту черту, смутную грань, которая их разделяла; и именно там исчезала трассирующая пуля. Он знал, что она еще вернется.

«Восточный вал» — после поражения под Курском и Орлом германское командование разработало план обороны, который предусматривал создание так называемого «Восточного вала» — оборонительной линии от Черного до Балтийского моря. Кодовое название плана — «Вотан». В свою очередь вал делился на рубежи «Пантера» и «Вотан». Поэтому иногда в некоторых источниках «Восточный вал» называют «Линией Вотана» или «Линией Пантеры». Вотан — в древнегерманской мифологии бог грома и молнии, верховный бог, царь асов, хозяин Валгалы, где пируют асы и куда попадают погибшие на поле битвы воины. «Линию Вотана» создавали и обороняли войска группы «Юг» и «А». «Линию Пантеры» — «Север» и «Центр». К строительству «Восточного вала» немцы приступали трижды: в 1941–1942 годах, когда операция «Тайфун» закончилась катастрофой у стен Москвы; весной 1943 года, после Сталинградского «котла»; осенью 1943 года после провала операции «Цитадель». Оборонительная линия создавалась на высоком правом берегу Днепра, который господствовал над окрестностью и являлся естественным идеальным местом для длительной обороны. Линия состояла: из противотанковых рвов, проволочных заграждений в 4–6 рядов, глубоких траншей и ходов сообщения полного профиля, блиндажей, минных полей, дотов и дзотов, железобетонных убежищ и командных пунктов. На каждый километр обороны приходилось в среднем 8 бронеколпаков и 12 дзотов. Самые мощные укрепления были созданы у Кременчуга, Никополя и в Запорожье. Левый берег Днепра на всем протяжении на несколько километров в глубину был опустошен в соответствии с тактикой «выжженная земля».

«Цепными псами» в вермахте называли военнослужащих немецкой полевой жандармерии. Жандармы носили на груди металлические бляхи-горжеты с орлом и надписью. Бляхи крепились на массивных цепях.

После Первой мировой войны Судетская область отошла к Чехословакии. На ее территории проживало три с половиной миллиона этнических немцев. После прихода фашистов к власти Гитлер неоднократно заявлял о притеснениях соотечественников со стороны чехов в этой области. Приводились цифры: в судетской области среди немецкой части населения самый высокий в Европе процент по числу самоубийств и по детской смертности. 30 сентября 1938 г. в Мюнхене состоялось соглашение между Великобританией, Францией, Италией и Германией о передаче Судетской области в состав Германии. Соглашение подписали Невилл Чемберлен, Эдуард Деладье, Бенито Муссолини и Адольф Гитлер. Вскоре в Судеты были введены германские войска.

В вермахте знак «За ранение» существовал в трех степенях: черный — за одно ранение; серебряный — за несколько ранений; золотой — за пять и более ранений, а также за увечье, которое привело к полной потере дееспособности или утрате «мужского достоинства».

Подтоварник — тонкие сосновые или еловые бревна, жерди, употребляют для временного крепления в шахтах или для подстилки в бараках под кладь, под товар. (Толковый словарь Ушакова.)

О командире батальона особого назначения капитане Иване Георгиевиче Старчаке см. первую книгу серии — роман «Примкнуть штыки!»

В 1937 году в абвере под командованием полковника Эрвина фон Лахузена был создан отдел диверсий, террора и психологической войны. На советско-германском фронте этот отдел руководил действиями шести абверкоманд, имеющих номера с 201 по 206. В свою очередь, каждая насчитывала в своем составе от четырех до двенадцати абвергрупп. «Черный туман» формировался в 1941 году в составе: три взвода диверсантов, отряд полевой контрразведки, школа по подготовке диверсантов, хозяйственный взвод. Всего 180 человек. Абвергруппы набирались из белоэмигрантов, украинских, белорусских и прибалтийских националистов, агентов из числа перебежчиков, дезертиров и военнопленных, прошедших специальный курс диверсионной подготовки, который занимал от полутора до трех месяцев. В него входили следующие дисциплины:

- парашютная подготовка;
- топография и ориентирование на местности;
- методы наблюдения и сбора разведданных;
- подрывное дело и методы саботажа;
- стрелковая подготовка;
- рукопашный бой;
- методы маскировки;
- методы отрыва от преследования и перехода линии фронта.

Остальные предметы вводились по мере надобности. К ним относились: радиодело, шифровальное дело, обращение с ядами, вождение автомобиля и т. д.

В задачи «Черного тумана» входило: проникновение в ближний тыл Красной Армии на небольшой срок (обычно от трех до пяти суток) и совершение там диверсий и террористических актов; действия непосредственно на линии фронта (например, скрытное проникновение на позиции Красной Армии с целью захвата «языка», подрыва полевых укреплений и складов, разведки огневых позиций и т. д.; проведение контрразведывательных мероприятий в ближнем тылу своих войск). Характер проводимых операций «Черного тумана», задачи, которые ставило перед абвергруппами командование, сближали их с подразделениями из полка особого назначения «Бранденбург-800».

О событиях этого периода, о злоключениях Воронцова, Нелюбина, Радовского и других героев С. Михеенкова, об окружении 33-й армии под Вязьмой и гибели командарма М. Г. Ефремова см. второй роман серии — «Иду на прорыв!»

О событиях вокруг гибели группы Самарина см. предыдущий, третий роман серии — «Высота смертников»

Историю подполковника Турчина см. во втором романе серии — «Иду на прорыв!»

О судьбе Степана Смирнова читайте в предыдущей, третьей книге серии — «Штрафная рота. Высота смертников».

«Отрядами вознесения» в германской армии называли штрафные подразделения. Так же, как и штрафные роты и батальоны РККА, эти подразделения бросались на самые гиблые участки фронта. А поэтому солдаты и офицеры, попавшие в «отряд вознесения», воевали недолго.

6-я пехотная дивизия вермахта. Входила в состав 9-й полевой армии группы армий «Центр». Принимала участие в приграничных сражениях, а также Минской, Смоленской, Вяземской, Ржевской, Сычевской операциях. Первоначально сформирована в Вестфалии и на Нижнем Рейне.

«Мороженым мясом» немецкие солдаты из числа ветеранов называли медаль зимней кампании 1941–1942 годов.

«Гориллами» немцы называли советских партизан.